

**АЛЕКСЕЙ  
НОВИКОВ**

РОЖДЕНИЕ  
МУЗЫКАНТА

Алексей Новиков  
**Рождение музыканта**

«ФТМ»

## **Новиков А. Н.**

Рождение музыканта / А. Н. Новиков — «ФТМ»,

«Рождение музыканта» – роман о детстве и юности выдающегося российского композитора, родоначальника русской классической музыки М. И. Глинки. В романе использован ряд новых биографических материалов о М. И. Глинке: данные о событиях 1812 года, разыгравшихся на родине будущего автора оперы «Иван Сусанин», о декабристских связях Глинки.

© Новиков А. Н.

© ФТМ

## Содержание

От автора	5
Часть первая	6
Бабушкин затвор	6
Глава первая	6
Глава вторая	10
Глава третья	13
Глава четвертая	15
Глава пятая	17
Глава шестая	20
Глава седьмая	22
Глава восьмая	26
Глава девятая	29
Глава десятая	31
Глава одиннадцатая	34
В бурю, во грозу	37
Глава первая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# **Алексей Новиков**

## **Рождение музыканта**

*В тексте книги сохранена орфография издания 1950 года – единственного издания романа в СССР и России.*

### **От автора**

В романе использован ряд новых биографических материалов о М. И. Глинке: данные о событиях 1812 года, разыгравшихся на родине будущего автора оперы «Иван Сусанин», о декабристских связях Глинки и т. д. Автор считает долгом отметить, что в своей работе он воспользовался исследованиями музыковеда Е. И. Канн-Новиковой, лишь частично опубликованными в нашей музыкальной печати.

## Часть первая

### Бабушкин затвор

#### Глава первая

Кусты заколыхались, раздвинулись, и на дорогу, тревожно озираясь, вышел молодой человек. Быстро шагая, он внимательно всматривался в даль, где мирно спала над озером господская усадьба села Шмакова. Прошли долгие минуты ожидания, и молодой человек снова скрылся в придорожном лесу.

Майское солнце, торопясь заглянуть в лес, поднималось все выше. Лучи пробились сквозь густую листву и заиграли на желтом кузове старинной кареты. Но даже солнечный луч не мог проникнуть в глубь таинственной кареты: шторы на ее окнах были наглухо задернуты.

Молодой человек вернулся к карете в полном смятении чувств и хотел было открыть дверцу, но передумал. Еще больше волнуясь, он снова вышел на дорогу, снова прислушался и стремительно бросился туда, где дорога круто заворачивала к Шмакову. Оттуда быстро шла девушка.

– Евгения! Наконец-то!

Молодой человек нежно обнял ее и увлек к карете. Помогая девушке взобраться на высокую подножку, он распахнул дверцу.

– И, мать моя! – раздался из полутьмы низкий голос. – Этак и царствие небесное проспать можно. Неровен час – погоня; куда я с вами денусь!

Старая барыня поднялась с бархатного сиденья навстречу девушке и, едва молодой человек захлопнул дверцу, отдала кучеру команду:

– Гони, Прошка, гони!..

Кучер подобрал вожжи и, ловко выезжая на дорогу, молодецки свистнул. Из чащи выскочили конные люди и пустились за каретой вскачь, подымая клубы пыли.

Сидя в карете, девушка все еще не могла перевести дух, а молодой человек, держа ее руки, не находил от волнения нужных слов.

– Ну, рассказывай, – отрывисто бросила старая барыня, – как из дому ушла?

Девушка прижала руки к груди.

– Все исполнила так, как вы, Фекла Александровна, приказали!

Карета застучала по мосту, и Фекла Александровна высунулась в окно:

– В топоры его, руби!

У каждого мосточка, перекинутого через безвестную речушку или ручей, барыня приказывала дворовым:

– Разбирай переправу!..

Но чем дальше позади оставалось Шмаково, тем веселей поглядывала на юную пару новоспасская госпожа Фекла Александровна Глинка. А молодой человек все еще держал руки милой невесты и сам не понимал, что с ним, где он.

– Если б я был сочинителем, Евгения...

– Ты, сочинитель! – перебила сына Фекла Александровна. – Пора, сударь, в рассудок *притти*. Кто тебя в этакое беспамятстве венчать будет?

Навстречу карете уже выплыла из-за леса колокольня новоспасской церкви, а следом за ней появился барский дом.

Выходя у церкви из кареты, старуха дала, наконец, волю чувствам:

– Слава тебе, господи, благословила замысел царица небесная и погоню отвела! Не попустила осрамиться на старости лет...

Заранее предупрежденный, новоспасский священник отец Иван спешно облачался в алтаре. Дьячок с непривычной быстротой зажигал лампы перед образами. На клиросе басовито откашливался старый пономарь, чтобы грянуть встречу невесте: «Гряди, голубица!...»

Фекла Александровна стояла в церкви на привычном месте, на вытертом коврикe, на котором стаивали отцы и деды владельцев Новоспасского. Она молилась и любовалась своим младшим сыном Ванюшкой: «Что говорить, хорош!»

Рядом с Феклой Александровной стоял сам владелец Новоспасского, отставной секунд-майор Николай Алексеевич Глинка, тихий, незаметный старичок. Мелко крестится Николай Алексеевич, поглядывая на спутницу жизни, и дивится: давно ли он с Феклой Александровной под венцом стоял, а глядь – Ивана венчают...

– Исаяя, ликуй! – запели на клиросе.

– Ликуй! – несмело подтянул секунд-майор. «А не раненько ли ликовать-то? Вон что придумала Фекла Александровна: невесту похищением взяла, как в романе каком... Ну, да раз Фекла Александровна решила, стало быть, так и надобно, иначе и быть не может».

Отец Иван, кончив обряд, говорил молодым наставительное слово, потом поздравил их, и нововенчанный муж поцеловал жену, ни от кого не таясь.

В тот ранний час в Шмакове еще спали крепким, сладким сном. Не любил шмаковский барин Афанасий Андреевич Глинка утреннего бдения. Иное дело вечера, когда тешился Афанасий Андреевич крепостной музыкой или домашним театром. Вот и вчера разыграли ему дворовые лицедеи преславную комедию «Невинная Юлия, или щастливая любовь». Новоспасская соседка Фекла Александровна от театра отмахивается, за бесовский соблазн его считает, а ведь не утерпела, греховодница, и сама пожаловала и сына привезла.

А из-за него чуть было не разгорелась баталия между шмаковскими и новоспасскими Глинками. Вздумала Фекла Александровна сватать за сына Евгению Андреевну, любимую сестру Афанасия Андреевича, покойными родителями ему врученную. Благодарил он Феклу Александровну за честь и на первый раз политично отказал. Нет, не за ельнинских медведей прочит он Евгению. Вот поедет Афанасий Андреевич в Санкт-Петербург или в Москву, снимется всем домом и выдаст Евгению Андреевну за фамильного дворянина, чтобы был при царском дворе известен и в чинах.

Однако ни в Санкт-Петербург, ни в Москву шмаковскому барину как-то не ехалось. То лишних доходов нету, то подниматься неохота. А можно и повременить: Женюшке всего шестнадцатый пошел. Пусть девичьим счастьем тешится – куда торопиться?

Но Фекла Александровна неотступно докучала:

– Ты сам, отец, посуди: мы – Глинки, вы – Глинки, все одного корня, хоть и дальнего родства. Отдашь Евгению за нас – и приданого тебе на сторону не отдавать: твой и наши земли к одному месту придут. Сочти-ка, Афанасий Андреевич, какой профит выходит! Ну, говори, батюшка, благословенное слово!

Но ничего не взяла с приступа Фекла Александровна. За честь Афанасий Андреевич опять благодарил, а в согласии все-таки отказал. Впрочем, и старуха мало-помалу от своей затеи отступилась.

А вчера захопнулся с театром Афанасий Андреевич. Все беспокоился, как невинная Юлия, она же горничная Наташка, скажет свой главный монолог да как музыканты разыграют новую увертюру. Захлопотался Афанасий Андреевич и не заметил, как молодой новоспасский гость беседовал с Евгенией, а Фекла Александровна глаз с них не спускала. Не слышал Афанасий Андреевич того, что сказывал Иван Николаевич невесте от матушкиного имени и как Евгения, вся затрепетав, едва слышно ответила: «Да!...»

Снятся Афанасию Андреевичу театры да увертюры. Сладко спит после вчерашних тревожений весь шмаковский дом. Только горничные девушки проснулись и перво-наперво постучались к барышне Евгении Андреевне в светелку. Барышня раньше господ встает, любит до чаю в озере искупаться. Постучали в светелку раз – тихо. Еще постучали – не слышать ответного барышнинного слова. Посмотрели горничные друг на дружку и открыли в светелку дверь:

– Батюшки-светы, ни души!

Побежали горничные к озеру. Тихо сонное озеро – рябью не подернет, а Евгении Андреевны нигде не видно. Только на росной траве барышнины чулочки и капот.

– Неужто водяной? Да где ему? Водяному только ночью время, а с солнышком ему в омут убираться...

Все кусты девушки обшарили, весь берег обежали, на все стороны Евгению Андреевну кликали – не отозвалась.

Тогда собрали горничные барышнин туалет – и к дому.

– Буди барина!

А барский камердинер Григорий Васильевич застыл в дверях, что статуя.

– Буди барина, ты, француз!

А Григорий в позу встал, – театры, видать, никому даром не проходят, – и руку вверх поднял:

Прочь, подкрапивницы, не вам сюда стремиться,  
Где даже и орлу предезостно явиться!..

Подняли горничные крик:

– С барышней беда!

Понял Григорий: нешуточное дело. Пошел будить.

Вышел Афанасий Андреевич, прищурился на свет:

– Что случилось?

Девушки – в слезы:

– Барышня утонула!

А барыня Елизавета Петровна, как услышала, глазки закатила и, прежде чем в обморок упасть, на французский диалект перешла:

– О, *quel malheur!*..<sup>1</sup>

Уже спустили на озеро лодки, уже закинули сети, чтобы вернуть хоть бездыханную барышню земле, уже помутилось, подернулось беспокойной рябью озеро.

– Нечего искать! – крикнул с берега мельник и пустил из люльки сизым дымком в небо. – Рыбка далеко уплыла!

– Куда?!

А мельник люлькой на Новоспасское кивнул: дескать, поутру сам видел.

Афанасий Андреевич ногами затопал.

– Григорий!.. В Новоспасское погоню! Вернуть беглянку живой или мертвой!

Мигом в поход собралась шмаковская кавалерия. Кто ружьишко промыслил, кто театральной саблей опоясался. Собрались – да на коней, только их и видели.

Афанасий Андреевич проводил войско и вернулся к Елизавете Петровне.

– Успокойтесь, дорогая! – Он вынул табакерку, постучал пальцами по крышке. – Это Фекла Александровна шалит, знаю я ее, *чортову* перечницу! – и такое словечко прибавил, что Елизавета Петровна руками всплеснула:

---

<sup>1</sup> О, какое несчастье!

– Athanas! Devant les gens!<sup>2</sup> – *То-есть*: как же так, при дворовых людях – и такие слова!.. В Новоспасском к тому времени молодых в родительский дом ввели и осыпали хмелем. Когда стали за стол садиться, شماковская конница шасть к парадному крыльцу.

– Опоздали, голубчики! – Фекла Александровна сама вышла к войску и даже на ступеньку с террасы спустилась. – Передайте барину, что кланяться велели и просили к молодым пожаловать! Ну, поворачивайтесь, да живо! – и сверкнула на конницу глазом.

Прошел день, но и к вечеру из شماкова никто не приехал.

Давным-давно отправился на церковный двор отец Иван. Потом Николай Алексеевич в свою камору отпросился. Наконец сама Фекла Александровна ушла на покой после дневных тревог.

В уединении проводили первый вечер молодые супруги. Сидели тесно на диване, нежно обнявшись, и вспоминали:

– Помнишь, Евгеньюшка, письмо мое?..

– А помнишь?.. – и Евгения Андреевна застенчиво опустила ресницы. – Помнишь, как нашел меня в саду?..

Вспомнили все: все записочки, все книги, которые вместе перечли. Время, остановись!

Иван Николаевич только глядел, не отрываясь, на милую супругу. О, куда глубже ее глаза, чем شماковское озеро, в котором поутру, по хитрому замыслу Феклы Александровны, должна была утонуть для людей Евгения Андреевна!

– Помнишь, Женюшка?

– А ты?

Он все помнил: в каком платье она была, когда встретились в первый раз, и как послал ей со значением иносказательную книгу «Челночек, или Путешествие к щастию».

– Слушай, милый! – промолвила Евгения Андреевна и села за фортепиано. Она положила руки на желтые клавиши, и старое фортепиано отозвалось сиплым голосом: «Кто, дерзкий, этак неучтиво меня тревожит?»

Не сказать, чтобы был у Евгении Андреевны отменный голос, но в этот вечер пела она от всей души:

Желанья наши совершились,  
И все напасти уж прошли,  
С тобой мы ввек соединились,  
Щастливы дни теперь пришли.

Пели эту песню в Санкт-Петербурге и в провинции и не знали, как песня родилась. Да не все ли равно? Ведь песня, родившись, долго живет. И сердце, полюбив, не скоро остынет...

Евгения Андреевна стала серьезной и положила детские руки на плечи мужу.

– Как в песне поется, так и у нас будет – на веки веков! – и поцеловала мужа крепким поцелуем...

Наутро Фекла Александровна приказала заложить карету и двинулась в شماково в объезд.

– Полно дурить, Афанасий Андреевич! Едем поздравлять молодых!

Афанасий Андреевич вынул табакерку, постучал по ней пальцами и устался на богиню Венус, которую расписал на крышке живописец во всем ее любовном томлении. Заправил Афанасий Андреевич понюшку, посмотрел еще раз на богиню Венус, потом прищурился на Феклу Александровну. Обскакала его старуха: такое спроворила – лейб-гусару впору!.. А хлопот-то

---

<sup>2</sup> Афанасий! При людях!

с невестой теперь, пожалуй, и меньше. Ни в Санкт-Петербург, ни в Москву ее не везти и всем домом не подниматься.

– Что с тобой, Фекла Александровна, делать? Видно, так господу угодно... – и с хитрецей закончил: – А мосты как? Вчера по всей дороге разорила. Кто чинить будет?

– Чего там, батюшка, мосты! Известно, грех пополам.

И в той же самой вместительной карете Афанасий Андреевич с Елизаветой Петровной отбыли к молодым.

«Конечно, новоспасские Глинки не ахти что, – размышлял в пути Афанасий Андреевич, – однако, как ни кинь, от судьбы не уйдешь».

Шмаковский барин совсем развеселился. А Елизавета Петровна давно была в упоении чувств.

– *Voilà l'amour!*<sup>3</sup> – и даже наставила на мужа черепаховый лорнет: «Ну, что ты, мол, пентюх, в амурах смыслишь?»

В Новоспасском снова поздравляли молодых. И так как дело было теперь в завершении, приказала Фекла Александровна подавать к столу не домашнюю шипучку, как вчера, а всамделишное шампанское.

– Молодым – горько!..

Когда разнеслась новоспасская свадебная новость по уезду, сколько разговоров поднялось, какой переполох на девичьих половинах вышел, какие свидетели-самовидцы объявились! Один клялся, что своими глазами видел, как новоспасские люди шмаковскую барышню к карете волоком волокли. Другой рассказывал, как Афанасий Андреевич новоспасскую церковь в осаде держал и на приступ целый полк водил, да с музыкой, ей-богу!..

– Ах, девицы, какой марьяж! – вздыхали барышни, окружая рассказчика.

– Фекла Александровна, – продолжал повествователь, – в ту пору в церкви запершись, попа с венцами торопила. А Афанасий Андреевич – вообразите – уже на паперти и приказывает в барабаны бить...

– И ворвались?! – стонали, бледнея, девицы.

– Ворваться-то ворвались, – отвечивал, не задумываясь, самовидец, – да когда? Когда молодых в третий раз вокруг аналоя обвели. Не опоздай Афанасий Андреевич на самую малую минутку, осталась бы Фекла Александровна на бобах. А теперь, выходит, ее взяла. Фортуна-с!

В те дни не в одну девичью душу заползла тайная зависть: «*Voilà l'amour!*»

Отец Иван все собирался занести свадьбу в метрическую книгу и опять откладывал: как-никак, сумнительная свадьба. Дойдет до архиерея, познаешь тогда духа свята! Но когда увидел, что у шмаковских Глинок с новоспасскими и мир, и пир, – решился. Открыл книгу о бракосочетавшихся на 1802 год, засучил рукава и, скрипя пером, вывел:

«Мая 30 дня. Села Новоспасского капитан Иван Николаев сын Глинка поял девицу того же уезда, села Шмакова, ротмистрову дочь Евгению Андреевну Глинкину. Оба первым браком... Священник села Новоспасского Иоанн Стабровский».

Расписался, положил перо, вздохнул с облегчением: конец и богу слава!

## Глава вторая

Свадьбу у Глинок играли через год с небольшим после того, как в Ельне узнали о высших столичных переменах. В то время в церквях огласили манифест нового царя и самодержца Александра Павловича: «Судьбам всевышнего было угодно прекратить жизнь любезного родителя нашего апоплексическим ударом...»

---

<sup>3</sup> Такова любовь!

Доходили, правда, и до Ельни неблагоприятные слухи, будто под апоплексическим ударом, что прервал жизнь самодержца Павла Петровича, надо понимать удар шпагой да офицерский шарф, затянутый на царской шее в темную мартовскую ночь. Но в Ельне таких разговоров не жаловали. Столичные дела – тонкие. Сказано – апоплексический, ну и понимай – апоплексический.

– Не нам умствовать, мы в стороне живем!

Ельнинские господа дворяне не звали своих вотчин иначе, как глушью. Не то беда, что Ельня от губернии, от Смоленска, за сто верст. Не то беда, что до Москвы и все триста будет. А то беда, что далеко стоит Ельня от московского большака. Вот и обогнали ее другие города, что поумней да попроворней: и Вязьма, и Гжатск, и Можай, и старый Дорогобуж. Дорогобуж до большака хоть и не дотянул немного, а все-таки рядом с жизнью встал.

И что Ельня за город, если не раз ее и за штат выводили? То будто уезд, а то опять одно недоумение. И сами ельнинские дворяне проводили день за днем неведомо как: ни тебе новостей, ни памятных происшествий. Сказывают, будто ходил здешними местами лютей Батый. Только если и было подобное, так быльем поросло. А после Батия и вовсе ничего не было. Какие в лесах истории? Краюхи неба – и той не увидишь!

Иной дворянин заведет календарь. А что в календарь писать? Много ли взял с тяглых холста да почем продавал меру ржи? Так это и без календаря каждому известно. А про мужиков и вовсе нечего сказать. Мужики, как водится, на барщину ходят. Вотчины в Ельне захудалые, мужики тощие, да и тех не много. А жить дворянину по званию подобает. Вот и приказывает владетель старосте:

– Если ты, нерадивый раб, с мужика спросить не умеешь, так из-под земли деньги добудь! Всякое несмотрение с тебя первого взыщу! Сам до каждого мужика доберусь!

И доберется. Хоть земля в Ельне незавидная, зато мужикова спина надежна.

А новшества, сохрани боже, в Ельне остерегались. Насчет промыслов да, не к ночи будь помянуто, мануфактур, – такого вольнодумства и в заводе не было. Не дворянские те дела: заторные!

Нашумела было смолоду Фекла Александровна, когда взял ее Николай Алексеевич Глинка из здешнего рода господ Соколовских. Огляделась молодая барыня в Новоспасском – с чего начать? А начин известный: первое – всякому мужику обложение прибавь, и на посконь, и на яйца, и на луговое сено, чтоб ничего не упустить из барского интереса. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто с малого собрать горазд!

– Ну и Соколиха, чтоб ей! – кряхтели новоспасские мужики.

– А разве ей, барыне, легче? – вздыхала Фекла Александровна. – Нешто Николай Алексеевич у нее хозяин? Только и знает, что к богомольям просится. В Тихвин к владычице спутешествовал – и остепенись! А он все свое: «Слышать, Фекла Александровна, в Белозерской обители еще благолепней поют: и вовсе ангелоподобно выходит. Не дозволишь ли, матушка, мне туда стопы направить?»

И так всю жизнь.

А Фекла Александровна всегда одна: она и в поле днюет, и при молотье безотлучна, и в девичьей расправляется. Проворна у Феклы Александровны карающая длань и глаз зорок, а не зажгла синица моря. Не вышла Соколиха в эконома! Все пошло по нерушимой старине. Всякую щербатую копейку в людских слезах купала, а рубли спесивились, не часто в кубышку шли.

Зато от детей новоспасским господам отбоя не было: все погодки рождались. Скрутили они Фекле Александровне руки. А потом и годы на нее насели, тяжестью своей на плечи легли. Сыновей поженили, дочерей в замужество пристроили; стала ждать Фекла Александровна младшего любимца со столичной царской службы. И как порешили в Санкт-Петербурге царя Павла Петровича, как только вышли служилому дворянству льготы, любимец Феклы Алексан-

дровны, Ванюшка, взял абшид от службы и прикатил в Новоспасское отставным капитаном в двадцать лет.

Отвели на радостях душу. Иван Николаевич неприметно к делу приступил. Нет-нет, да что-нибудь и выскажет Фекле Александровне со всем сыновним почтением:

– А что, матушка, не прикажете ли мужиков на оброк перевести, коих вы излишними сочтете?

– Где ж ты видал, чтоб мужики господам лишние были?

– Упаси бог! – тотчас согласится Иван Николаевич. – Я только то разумею, что дворовых убавить можно. Вам от них одно беспокойство, а на оброк переведете – деньги придут. Нынче деньги – сила!

– Без тебя не знала, спасибо – научил! А где их взять, денег? Урожай – кот наплакал, старосты – воры! Где же их, денег, взять?

– Коли вам, матушка, неведомо, откуда же мне знать?.. Слышал я, впрочем, будто большую пользу имеют те, кто от казны берет подряды да поставки...

– Это с приказными якшаться? Им только палец покажи!..

– А на приказных управа найдется, когда контракты заключим.

– Я, голубчик, и слова такого не разумею и разуметь не желаю. И тебе запрещаю!..

Но к речам сына одним ухом прислушивалась: от молодости в нем дурь или в самом деле растет хозяин?

– Да какой же ты хозяин, коли холостой?

– А вы, матушка, жените!

– И женю, тебя не спрошу!

– Из вашей родительской воли никогда не выйду!

И впрямь не вышел, потому что Фекла Александровна давно к Шмакову присматривалась, а Иван Николаевич еще раньше шмаковской барышне Евгении Андреевне чувства изъяснил и счастливую взаимность встретил.

Не зря, должно быть, осыпали новобрачных хмелем. Не зря путь им житом выстилали. В счастье и жить молодым в старом новоспасском доме...

А что такое счастье? Кто его видал?.. Спросить у секунд-майора Николая Алексеевича, кашлянет он в руку и, прежде чем речь держать, на все стороны оглянется: не осерчала бы Фекла Александровна на такое своеволие.

А к Фекле Александровне с праздным вопросом и вовсе не подступишься. Ей бы за воров старостой углядеть да урожай собрать.

Вот и некого было молодым поспросить о счастье. Как умели, сами его ладили.

Сперва поскучала Евгения Андреевна по родному гнезду. В Шмакове и театры, и музыка, и фонтаны. В Новоспасском же хоть и нет никакой красоты, кроме Десны перед домом, зато ласкает тебя любимый муж. И где Иван Николаевич ни появится, там уже бьет ключом жизнь. Он как будто и в дела ушел и как будто от жены не отходит. В делах он не в матушку Феклу Александрову – далеко вперед смотрит. Жену милует – опять же не в батюшку Николая Алексеевича вышел. Что ему райские песнопения! У него каждый поцелуй земным жаром пышет. Это тебе не постная триодь!

– С тобой, Евгеньюшка, всю жизнь переверну, в том суть!..

А счастье-то в чем? Задумается Евгения Андреевна, а муж, глядь, опять по делам отъехал, только горят на губах прощальные поцелуи; и опять в доме тишина.

А дни бегут и бегут с жизнью наперегонки. Года не прошло – поставили в боковых покоях, отведенных молодым, детскую колыбель. На колыбели – голубые банты, в колыбели – первенец-сын: я, мол, ваше счастье!

## Глава третья

В любимых креслах не то задремала, не то задумалась Фекла Александровна, а за дверью опять стук.

– Входи, кто там?

На пороге склонился в низком поклоне домашний фельдшер Захар.

– Барыня Евгения Андреевна просят к ним пожаловать!

– Что с младенцем?

– Пока, слава богу, ничего...

– Не полегчало?

– Нельзя сказать, чтобы полегчало... Известно, недужит!

– Хуже не стало?

Захар ступил шаг вперед и заговорил *шопотом*:

– Правду сказать, матушка-барыня, хуже быть не может...

– Господи милостивый, что за хворь такая?

– Кто ее ведает! Дите по малолетству не скажет, а без него как узнаешь? Я так думаю, матушка Фекла Александровна, не жилец на белом свете Алексей Иваныч...

– Не брешь на младенца! Родители сберечь не сумели... А ты что стоишь? Ступай!

Захар засеменил в людскую, подальше от барских глаз. Ладно бы ему мужиков лечить. А тут на, попробуй, полечи барское дите. Еще спасибо, молодая барыня не допустила.

Беда пришла с утра. С утра дежурили в Ельне на квартире у лекаря новоспасские люди. Другие искали его по всему уезду. Пропал окаянный немец, как иголка в сене, провалился.

Фекла Александровна пошла в спальню к молодым.

Евгения Андреевна неподвижно сидела над колыбелью первенца, уйдя в глубокую думу: еще утром Алешенька за палец ее хватал, да как крепко; еще днем полным голосом плакал, а теперь совсем затих. Неужто не защитит сына материнская любовь?

По другую сторону пышной колыбели приклонилась нянька Карповна. Она все молитвы перечла, sprysнула младенца с уголька святою водою, – чем еще поможешь?

А новоспасские гонцы так и не разыскали медикуса немца. И Захара-фельдшера в барские покои больше не звали. В ту же ночь преставился болярин Алексей.

Когда утром Иван Николаевич вернулся из отлучки по уезду, он, едва выйдя из саней, понял по суете: случилось недоброе.

До тех пор молодая барыня была в окаменении: ни слезинки не проронила. Теперь слезы хлынули ручьем.

Фекла Александровна, муж и Карповна не спускали с нее глаз.

Фекла Александровна невестке ничего не сказала, пощадила. А сына призвала к себе:

– Доверила вам внука, понадеялась... Не уберегли наследника. С кого теперь спрашивать буду?

«Только бы Евгению не корила!» – думал Иван Николаевич.

В те дни он был безотлучно при жене. Выведет ее по заснеженному лугу к Десне. Может, ветер унесет ее печаль? Может, мороз нарумянит запавшие щеки?

Они до сумерек ходили по берегу. Иван Николаевич заводил всякие речи, только бы горя не коснуться. Евгения не то слушала, не то думала свое.

По вечерам заходил с церковного двора отец Иван. Фекла Александровна давно к нему приглядывалась, а разгадать так и не могла. Кто его знает, неторжественный какой-то поп, нефигурный. И ручищи, как у мужика. Поп – а сам пашет, косит и дрова возит.

– Труд-то, – посмеивался отец Иван, – наша первая богу молитва. Для благолепия архиереи да монахи поставлены, а у нас, грешных, своих делов много!

Много ли с такого попа для души прибутку?

– Ну, садись, отец, чаевать!

– Благодарствую, Фекла Александровна, грех от чая отказываться!

Вкусен китайский напиток! Вкусен, да дорог: только у дворян и отвести душу. А дома попадья разве что на великий праздник самую малую щепоть запарит.

Отец Иван приступал к чаепитию и обращал к Евгении Андреевне немудрящее слово.

– Жизнь-то, – говорил он, дуя на блюдечко, – по всей земле цветет. И смерть жизнью разрешается. Не нам эту тайну обнять. На том мир стоит, тем и люди живы, не тако ли понимать надобно?

– Еще чашку, батюшка?

– Вмещу!.. А ты, Евгения Андреевна, не тужи. Мы, неразумные, по ушедшим скорбим, а в жизнь шествующих не видим. Невластная она, смерть!..

А Фекла Александровна у себя по-своему время коротала. Встанет к ночи перед божницей и смотрит на древний образ суздальского письма.

Стоит на молитве Фекла Александровна и шепчет:

– Всем мы, господи, взысканы: и именем довольны, и людишки покорны, и сына женила.

Сама невесту выбирала, не откажусь. По уму да по здоровью выбирала, роду в продолжение. За что ж, господи, наказуешь? Неужто чужим людям имяние отдавать?

А молодым особо наказывала:

– Молитесь!.. Со смирением просите: «Пошли нам, господи, чадо, при младости на поглядение, при старости на утешение, при смертном часе на помин души!..»

Много ли молились молодые – кто знает? Но едва забурлила перед домом Десна и побежала после зимней разлуки к Днепру, стала Евгения Андреевна оживать. Стал ее голос звенеть по горницам, особенно, когда бывал Иван Николаевич дома, когда ходил с ней по старому саду, по ближним лугам.

– Вот здесь, Евгеньюшка, цветочный сад разобьем. Розами лужайку засадим. Выпишем Амура наилучшего резца – будет Амуров лужок...

Молодость, молодость! Кому, как не тебе, насадить утешные сады!

Расцветут на Амуровом лужке розы! Невластная она, смерть! Евгения Андреевна вернулась к жизни. Еще ближе стал муж: от горя любовь крепчает.

Побежали дни и месяцы вслед за быстрыми водами Десны; а на Борисов день и соловей голос подал, облюбовал жительство под самыми окнами спальни Евгении Андреевны.

За окном черемуха роняла цвет на боярышник и смородину. Кусты стояли как в первом снегу. Все так заросло, что и малому лепестку упасть некуда. Дикий хмель за жимолость уцепился, путал, путал – запутал ее вконец.

А соловей для песни уединения ищет. И в ночь на 20 мая так распелся, такой замысловатой трелью зорю встретил, что как ни спешила Карповна, ковляя на кухню за горячей водой, остановилась на минутку.

– Ишь, разбойник!..

В спальне Евгении Андреевны опущены шторы и закрыты ставни, чтобы не беспокоить роженицу, а все равно проникает соловьиный голос. Ему что, соловью? Пусть бегают няньки да повитухи от спальни к кухням да в бельевую. Пусть по всему дому открыты шкафы и сундуки, чтобы легче было роженице рожать. А ему что, соловью? Известно – птица!

И когда запустил разбойник в раскат, – напоследок правильный соловей обязательно так припустит, – ему ответил из спальни детский плач.

Пока Фекла Александровна обряжала роженицу, Карповна побежала в кабинет к Ивану Николаевичу: поди, тоже мается человек, всю ночь без присесту ходил.

– С сыном, батюшка-барин!..

Ивану Николаевичу все бы сразу узнать. Да разве это мужское дело?

- Вон соловей заливается, – уклонилась Карповна, – видать, скоморох родился...
  - Какой скоморох? Ты, старая, в уме?!
  - Да нешто это я? Так народ примечает... – и ушла обратно к Евгении Андреевне.
- Впрочем, главное Иван Николаевич понял: сын!

И пошло от радости в Новоспасском доме все вверх дном. Еще Евгения Андреевна не встала с постели, а Фекла Александровна уже столы собирала. На крестины весь уезд созвала. Да что званые? Кто ни ехал – мимо не проехал: милости просим!

Мальчика нарекли Михаилом. Так бабка распорядилась. Так и по святцам выходило: родился наследник под самый летний Михайлов день 1804 года.

## Глава четвертая

Лежит Михаила Иванович на тонких полотнах, на пуховых подушках, в атласных одеялах и присматривается к жизни. А весь дом к нему присматривается: в кого пошел? Волосом темный и глазами тоже. Лежит себе Михаила Иванович тихо, плачет умеренно: сам громогласия боится.

И не ведает, что о нем бабка замышляет.

А Фекла Александровна вскоре после крестин вызвала молодых родителей к себе.

Глядят, восседает она в персидской шали. Есть у нее такая заветная шаль – для великих праздников и самоважнейших дел.

– Вот вам мой приказ, и другого не повторю? Алешу не уберегли, теперь я за Михайлу отвечаю. На мне забота корень фамильный сохранить, на мне и ответ. Беру Михайлу к себе!

Вздрогнули родители. Иван Николаевич встал:

– Маменька!..

– Дело решенное, не перечь! А ты, – повернулась к Евгении Андреевне, – отдыхай, силы набирайся!

Сколько лет Фекла Александровна на свете прожила, а никто еще ее воли не отменил.

– Завтра и переведу!

И переселили Михаила Ивановича со всем обзаведением, с кормилицами, с нянькой Карповной в бабкины покои. Фекла Александровна еще подняньку Авдотью к внуку определила, потому что была Авдотья Ивановна первая на всю округу сказочница и на песни голосиста.

Но не успел еще внук на новоселье обжиться, Фекла Александровна новое решение объявила, хотя для видимости объявлял его секунд-майор.

В этот день Николай Алексеевич облекся в парадный екатерининский мундир и поставил на стол ларец. После обедни пришел отец Иван.

– Ну, батюшка, Николай Алексеевич, объявляй! – начала Фекла Александровна.

Николай Алексеевич порылся в ларце, вынул бумагу с печатью, стал читать невнятно:

– «...из Смоленского Наместнического Правления дана сия Николаю Алексееву сыну Глинке в том...» А что, матушка Фекла Александровна, все ли честь надобно?

– Читай, батюшка!..

– «...Николаю Алексееву сыну Глинке в том, что недвижимого имения за ним в Смоленском уезде в Вопецком стану сельцо Соколове с деревнями, крестьян мужеска пола – 87, Ельнинского стану в деревне Шатьково – 24...» Да кто ж, матушка, наших деревень не знает? Зачем их честь-то?

– Ну, быть по-твоему, – уступила Фекла Александровна.

С облегчением вздохнул секунд-майор и, отложил грамоту, продолжал от себя.

– А те деревни выделили мы детям нашим: Димитрию, Луке, Антону, Анастасии, Татьяне... – Николай Алексеевич споткнулся, припоминая: кому бы еще?

– Господи, родных детей перезабыл! – удивилась Фекла Александровна и закончила, словно читала по святцам: – Татьяне, Марии, Прасковье.

– Ну, и я то ж говорю, – подтвердил Николай Алексеевич.

Теперь ему предстояло главное.

– А родовую вотчину нашу, село Новоспасское, со всеми угодьями, деревнями и выселками, с пахотными и сенокосными землями, со всеми пустошами и лесным заказом жалуюем мы меньшому сыну Ивану в награду за послушание и к родителю и родительнице сыновнее почтение!..

Фекла Александровна одобрительно кивала головой.

– В случае же кончины нашей, – Николай Алексеевич снова посмотрел на спутницу жизни, – супруге нашей определяем жить в Новоспасском до конца дней, владеть и распоряжаться всем полновластно!

Объявил свою волю екатерининский секунд-майор и вскоре свершил земной путь.

И *попрежнему* бы жить Фекле Александровне полновластной госпожой. А ей теперь все ни к чему. Ей теперь одно: надежу-внука пестовать.

Жизнь в новоспасском доме окончательно разделилась Иван Николаевич не в пример соседям в хозяйстве размахнулся. Лишних людей на оброк перевел, барщинным барщину сбавил. Мужикам легче, а ему и вовсе не в убыток. Многие господа помещики на такое баловство коситься стали: что за чертовщина, почему ноне в Новоспасском хлеба богаче?

Но замыслы Ивана Николаевича шли далеко. Что ему Новоспасское? Разве на ельнинских землях развернешься?! Стал он брать те самые подряды, о которых матушке толковал. Прежде бы Фекла Александровна запрет наложила, а теперь, кроме внука, ничего не видит. Кроме как о Михайле Ивановиче сама не говорит и никого слушать не желает.

– Вчерась у меня Михайла под стол уполз, вон куда пошло!

Что ж ей после того сыновние новшества?

А Ивану Николаевичу уже своих подрядов мало; начал в компании входить и к откупам присматриваться. Достаток в Новоспасском стал заметно прибывать. И соседи еще пуще косились: «Сказывают, у Глинок мужиков боле не дерут: уж не фармазон ли объявился в Новоспасском? Что же дале будет?..»

А в это время и открылся у Ивана Николаевича еще одна страсть – к цветам. Не зря Евгении Андреевне про цветочный сад говорил. Заложил его на целые версты. Теперь в саду не «барская спесь» в глаза рябит, не какие-нибудь «царские кудри» вьются – розы расцвели!

Садовые новшества Ивану Николаевичу тоже с рук сошли. Фекла Александровна знай внука бережет. Теперь-то и нужен за ним глаз, потому что встал Михайла с четверенек да как пошел ломить!

– ...Ну, не сказать, чтобы до дверей, а до трельяжа, ей-ей, путешествует!..

Но тут, у трельяжа, и положен конец всем путям. А если бы и добрался когда-нибудь внук до дверей, крепко-накрепко те двери закрыты. Еще родителей Фекла Александровна иной раз к внуку допустит, а его к ним, на родительскую половину, никак.

– Сквозняки у вас, сохрани бог! – Или схитрит: – В другой раз пришло. Сейчас Михайле обедать пора! – А то на сенных девушек сошлетя: – Вон идут Михайлу Иваныча тешить!..

Когда ему пошел второй год, на таинственной родительской половине объявилась сестрица Поля. А бабушка на нее взглянула и глаза отвела. Молвила равнодушным голосом:

– Девчонка? Эка невидаль! Уберите!..

И живет бабушка *попрежнему*. Никого не признает – внуком дышит.

Чинно стоит в покоях Феклы Александровны старинная мебель и люди по струнке ходят. Против буфета висит на стене картина. На картине корабль распустил паруса, будто совсем плыть собрался, а под кораблем надпись: «Жду ветра силы и ожидаю время».

Эту аллегию понимать надо: может, живописец вовсе и не корабль разумел, а человека: не пускайся без времени в море житейское!..

На трюмо стоят часы. Из бронзовой львиной пасти бесшумно льется стеклянным столбиком вода. У тех часов затейливый бой, но его не услышишь. Не желает Фекла Александровна, чтоб часы заводили: не к чему людям бога проверять.

Время и без часов вон как бежит! Едва минул год, опять принесли к бабушке новую внучку, которая пицала в розовом одеяльце. Опять сказали Мише: «Сестра, теперь – Наташа». А бабушка на нее и глядеть не стала:

– Опять девчонка? – и замолкла, словно забылась.

Жарко в покоех Феклы Александровны. Жарко так, что нет силы терпеть, а бабушка нянькам приказывает:

– Наденьте на Михайла Ивановича шубку!

Придумала ему особую комнатную шубку. Эта – сверх тех, которые для выхода положены. Терпит Михайла Иванович и сопит в своих шубках, что ручной медвежонок. Терпит и незаметно растет.

– Мухи не обидит, – умиляются, забежав в людскую, няньки. – При нем никакую насекомую порешить нельзя, плачет!

А случилось и так: накажет бабушка виновную из собственных рук – перед барыней холопка когда не виновата? – а Михайла Иванович в слезы и на руки к Карповне. Фекла Александровна и Карповну пристрожила:

– Это ты дите учишь? Смотри, старая! Не порти барчука!

А внуку – новые баловства: чай со сливками во всякое время, сахарные крендели, домашние пастилы, изюм, орехи, ягодные квасы, чего ни пожелаешь – все безотказно!

– Эй, девки, рядитесь!

Завяжут санным девушкам широкие рукава над головами, стреножат их: «Пляшите!» Вот они слепые и топчутся; начнут плясать – хлоп об пол!

– Ой, любехонько! – сама Фекла Александровна от смеха слезу утрет.

А Михайла Иванович посмотрит, посмотрит:

– Бабушка, не хочу!

Кто его знает, каких еще затей ему надо?..

На пятом году новоспасский наследник взял в руки мел и давай расписывать по полу картины: вот деревья, а вот церковь. Правда, этакой церкви можно на дереве, вроде скворешни, уместиться. А все-таки, если взглядеться. – церковь. Когда *нехватает* места на полу, живописец и под диваны спутешествует, там свои сады и церковные маковки докончит. Но беда, если кто-нибудь помешает Михайле Ивановичу в занятиях или наступит на его картины. На что тихий да приветливый, а тут весь затрясется и в сторону виновного оттащит: зашел-де куда не следует!..

И сидит за картинками *день-денской*, не шелохнется. Голову набок склонит, будто слушает. Может, и впрямь какие голоса слышит?

Давно примечает Фекла Александровна за внуком: умственный растет, всего в жизни добьется!

## Глава пятая

– Авдотья, играй песни!

И только бабушка прикажет, внук тащит к ее креслу свою скамеечку: он на песни первый охотник.

Поклонилась Авдотья Ивановна барыне в пояс:

– Что петь прикажете, матушка?

Знает Авдотья Ивановна и песни и сказки, знает про Егория храброго и про Ивана-царевича, а еще про птицу Сирина... Да разве перечтешь все сказки, все песни или наигрыши?

Ступит шаг вперед Авдотья Ивановна, молодая, пригожая, и лицом и осанкой – всем взяла. Не красавица, а каждый заглядится. Голос у Авдотьи Ивановны мягкий, поет – каждое слово светится:

Как на матушке на святой Руси,  
На святой Руси, на пресветлыя,  
Посередь поля, среди лесов  
Выпадала Книга Голубиная...

Поет Авдотья Ивановна, а слово песню ведет. Слово – песне поводырь, к слову голос строится:

Выпадала Книга Голубиная,  
И немалая, невеликая,  
Долины Книга сороку сажень,  
Поперечины двадцати сажень...

Показала Авдотья Ивановна, какая та книга необъятная, у барчука глаза тоже раскрылись во всю ширь: вот бы ему такую книгу! А думать о том недосуг. Уже собрались к Книге Голубиной сорок царей со царевичами, сорок князей со княжевичами. Думают-гадают, как ту книгу честь, книгу запечатанную. И, глядь, подъезжает к книге сам Володимир-князь и премудрого царя Давыда вопрошает:

Ты скажи-ка нам, проповедывай:  
От чего зачалось солнце красное?  
От чего зажглись звезды ясные?  
От чего повелись ветры буйные?  
От чего горят зори-молоньи?  
От чего у нас мир-народ?

Все знает, на все ответит премудрый царь Давыд Евсеевич, только не дожидаться тех ответов Михайле Ивановичу. Уже начал было Давыд Евсеевич ответ держать, и вдруг уплыл куда-то премудрый царь, а к Михайлу Ивановичу клубком подкатился сон-угомон. Взяла дитятю Карповна, уложила в мягкую постелю.

– Спи, христос с тобой! Сгинь, нечистая сила!..

Сами собой открылись у мальчика глаза, и сон шмыгнул в самый дальний угол.

– А какая она, нечистая сила?

– Известно какая – всякая!

– Да какая, Карповна?

– Каждый человек знает, какая. Одни бесы в болотине сидят – те болотные, тиной мазанные. А которые лесовики – те махонькие, а ручищи у них страшные. По ночам в те ручищи хлопают – по лесу гром гремит. А водяным да речным свое обличье дадено – те голышом скачут. Есть еще лысые бесы – те сучные, ничем не довольные... Какие еще-то есть?..

Задумалась Карповна: разве всю нечистую силу в памяти удержишь? А Михайла Иванович так и не узнал, какие еще нечистые бывают. Спит мальчик, и распечатывается перед ним Книга Голубиная, а в ней писано то, что собрано во всех книгах по всей земле. Вот бы

раздобыть такую книгу! За нее можно все царство отдать, себе только Жар-птицу оставить – пусть поет!..

Но пока что распечатались только книги в бабушкином шкафу. Миша треплет страницы, чтобы добраться скорее до картинок. Но мало картинок в старых книгах церковной печати. Только зря переворачивает лист за листом.

– Трудисься, книжник? – приглядывается мимоходом отец Иван. – Ну, трудись, трудись, да смотри, в книжного червя не обернись! Вредные они, книжные черви!..

Засмеялся поп, погладил книжника шершавой рукой, и след его простыл. Но однажды отец Иван пришел на усадьбу спозаранку, серьезный, будто даже торжественный.

– Ну, Михайла Иванович, собирайся!

– Куда?

– В книжное царство! – и показал мальчику мудреные титулы. – Смекай-ка: вот тебе аз, а сия соседка буки зовется. Для того и не похожи друг на друга, чтобы грамотеи, вроде тебя, не смешали. А здесь расположилось веде. С сахарным кренделем сходно? То-то, брат, и есть!..

И так, играючи, показал всю азбуку. Миша слушал внимательно, по обыкновению склонив голову набок, и глядел на таинственные титулы во все глаза.

– Ну, смекай дальше: если к буки аз пристроить, что будет?

Мальчик задумался: вроде как будто и ничего не будет. Но когда вслед за учителем ученик неуверенно дважды повторил: «Ба-ба...» – бабка охнула, прослезилась и принялась внука целовать. Урок оборвался. Отец Иван, смеясь, приговаривал:

– Так его, Фекла Александровна, истинно говорю книжник будет!

Миша выучился читать так быстро и бойко, что сам учитель удивился: вон куда игра в титулы привела!

Теперь в жизни Феклы Александровны появилось новое занятие. В вечерний час она раскрывала тяжелую книгу в сафьяновом переплете с золочеными застежками:

– А ну, Михайла, перечти вчерашнее!

У дверей замирали няньки. В тишине, изредка прерываемой вздохом умиления, долго звучал детский голос, такой же степенный и неторопливый, как сам новоспасский барчук.

– Ну и внучек! – умиляется Фекла Александровна. – На шестом году книги чет! Не бывало еще такого чуда ни у ближних, ни у дальних соседей, а почитай и во всей губернии. Да есть ли и в столицах такое чудо?.. Едва ли...

И не заметила Фекла Александровна, что с ней тоже чудо совершилось. Люди уж давно дивятся: что с Соколихой случилось? Только она одна ничего не замечает. Стоит внуку объявить какое желание, бабка первая устремится на неверных ногах, чтоб его исполнить. Так и пошла под начал всевластная госпожа Фекла Александровна. Даром что внука из-под стола не видно. И кто знает, какие он новые испытания на бабку наложит? Поднес к ней книгу:

– Теперь, бабушка, ты читай!

– Ой, баловник, где мне без очков разобрать?

– А ты надень очки.

– Ох, выдумщик, мои очки для грамоты негожи!

– Другие надень, гожие!

– А гожие мышка разбила, хвостиком смахнула...

Вот как приходится хитрить Фекле Александровне на старости лет. Она и смолodu не все титулы разбирала. Матушка, царство ей небесное, строгая была: «Не для чего, – говорила, – честной девице грамота: еще любовные цидулы писать станет...» А потом и недосужно было: поважней титулов дела нашлись. Теперь же на всей бабкиной половине Михайла Иванович – командир.

Впрочем, в одном старуха осталась неприступной.

– Бабушка, гулять хочу!

– Батюшки-светы, в такую непогодь!

А в окно солнце льется, ни один листок в саду не шелохнет. Ну, и что ж из того? Погода – первая обманщица. А у Феклы Александровны еще с ночи кости ныли. Кости никогда не обманут.

Чем заметнее старела Фекла Александровна, тем жарче становилось в ее покоях. По строгому запрету никогда не поднималась ни одна оконная рама. Рос Миша как тепличный цвет, не от того ли и недужил? Но никто не посмел бы сказать этого новоспасской госпоже. Хоть и уходили с каждым днем ее силы, а все еще хватало их, чтобы держать дом в беспрекословье.

Пристала к мальчику золотуха. Не узнать Михайла Ивановича, степенного барчука, томится, скучает, в капризы входит.

– Клади ему, Карповна, сахару послаще! Да душистого медку отведай, батюшка, – от всех хворей исцелит!

Ничего не хочет внук. Ему бы в сад, там скворцы прилетели. Разве в окошко их увидишь?

Но все чаще дремлет в креслах бабушка, все дольше и крепче ее дремы. Выждет Михаила Иванович и давай бог ноги – на женское крыльцо да по мягкой оттеплевшей земле, по веселым лужицам – прямо к колокольне... Сейчас ударят ко всенощной. Уже прошел пономарь Петрович, отвалил двери и скрылся в полутьме. Ох, как медленно карабкается Петрович, должно быть, отдыхает на каждой ступеньке! Миша ждет, замерев от нетерпения... А, наконец!

Раздался первый удар большого колокола. Его густой голос медленно поплыл над рекой в поля; вдогонку за большаком бросились резвой стаей колокола-подголоски и тоже скрылись в лесу. Может, отправились в неведомое царство, а может, будут странствовать по небу, как бредут по земле странные люди, что зайдут на праздник в Новоспасское, а потом опять идут. Идут по красному солнышку, по утренним и вечерним зорям, идут да идут, а куда?..

Миша смотрит вслед колокольным звонам, будто в самом деле видит, как они тают вместе с дальним светлым облаком. А то заденут резвые подголоски макушку старого вяза, и тогда зашелестит вслед странникам каждый листок.

– Бабушка кличут! Бабушка гневаются!..

Нянька Авдотья бежит от крыльца и поспешно ведет барчука к дому. Как все здесь знакомо: каждая бабушкина морщинка, каждая вмятина на вошеном полу!

## Глава шестая

Над самым берегом Десны поднимается новый барский дом. Туда непрерывно везут могучие дубы, там с утра до ночи стучат топоры. Дом растет, как в сказке... А может быть, там и начинается сказочное царство? Но близок локоть, да не укусишь. Хоть бы в окошко наглядеться, так и то нельзя: бабушка или сама отведет, или нянькам прикажет: сохрани бог, как бы на Михайлу из окошка не надуло!..

До родительской половины еще ближе, чем до нового дома, но бабушка все выходы забила, на все двери войлоки повесила – попробуй выберись. Приходится ждать, пока с родительской половины прибежит батюшка, да ведь батюшка всегда на ходу, смотришь – уже подают к крыльцу тройку. Батюшка всегда торопится, иначе как на тройках не скачет. Приходит с таинственной половины матушка, милует сына, а бабушка при этом места себе не находит:

– Ты мне его, Евгения, не балуй!..

Велики тревоги у новоспасской госпожи, а все больше одолевает ее дрема. Но ей, Фекле Александровне, умирать нельзя. Еще не исполнила обета, не вырастила внука, роду продолжение. Вздохнет в горести новоспасская госпожа и опять забудется в дреме.

А Миша придумал, чем ее утешить. Отыскал тазы, в которых варят варенье, обернул в тряпицу поварешки да как грянет во все колокола, не хуже Петровича.

Переполошилась Фекла Александровна, привскочила в кресле:

– Светопреставление!..

За такую дерзость никому бы не сдобровать, а внуку сошло. Отдышалась бабушка и в умиление пришла:

– Ну и внучек! И благовест, и трезвон, и перезвон – все превзошел. И кто его учил?

А его никто не учил. Мало ли для барского дитяти благородных забав? Чтобы в тазы бить, это кому же в ум придет? А Михайла Иванович старую бабуку в новое искушение ввел. Только слово сказал – в детскую малые церковные колокольцы представили. Ему бы, барчуку, барином жить, а он в звонари, что ли, смотрит? Чудно!..

Но коли до своего дорвался, лучше ему не мешать. Оторвать – все равно не оторвешь. Только сердце ему распалишь. Ну и трудись, Михайлушка!

Миша начинает медленные переборы с протяжкой. Колокольцы поют жалостно, как калики перехожие, когда сидят убогие у церкви, ожидая милостыни. Проходят богомольцы, звеня падает на денежку медный грош. Колокольцы все тебе покажут. Пустил их в разбег – залились-поскакали, как батюшкины тройки. Гонись – не догонишь! Колокольцы все могут! Батюшкины тройки нивесть где скачут, калики перехожие когда-то еще придут, а колокольцы всегда при тебе. За то и любит их новоспасский барчук. Вот, Фекла Александровна, какие у внука забавы: в буквы поиграл – в первые грамотеи вышел, колокольцы перебирает – куда теперь придет?

А бабушке некогда о несущественном думать. Никак опять холодом на Михайлу потянуло?

– Эй, ротозейки! Обезручили, негодницы! – да еще сверкнет на негодниц прежним соколиным глазом. – Не видите, курослепы, сквозняк!

И закроют еще плотнее двери. Сидеть бы Михаиле Ивановичу за семью запорами. Да не таков он, чтобы сиднем сидеть. Коли ему у бабушки ни к дверям, ни к окнам ходу нет, взял он да и прорубил себе свое оконце – слуховое. В то оконце поглядывает – через песню всю жизнь видит.

– Пой, нянька, пой, Авдотьюшка!

– А ты слушай, Михайлушка, слушай-потрудись!

Не скоро сказка оказывается, а песням вовсе конца нет. Сколько песен – столько голосов, а к каждому голосу – подголоски. Каждой песне свой лад, а в ладу свои ходы-выходы, им счету нет.

И поет Мише нянька Авдотья, поет не день, не два, поет ему многие годы. А Михайле Ивановичу через песню все видать. Видит, как во поле березынька стоит, и на ту песню сами березки под вечер сбегаются. Стоят на лугу, обнявшись, да позванивают вешними сережками: «Гляньте, девушки, кто там?..» А за рекой, за речушкой куражится перед невестами яр-хмель. Ходит-вьется до тех пор, пока не затеплится в крайней избе лучинушка. Пока она горит-догорает, послушайте, добры молодцы, как в городе царевна жила. И только глянула из песни царевна, темная ночка ближе придвинулась, и месяц-царевич выплыл в остророгой ладье. Ему с высоты на царевну глянуть и себя показать. Но засмотрелся на царевну месяц и не слышал, как вроссыпь прокричали последние петухи. А жаворонок, откуда ни возьмись, выпорхнул из туманных рос да подхватил песню и взлетел с нею к солнцу.

– Я тебя, Ладо, встретил, я первый!..

Улыбнулось жаворонку солнце и послало лучи по всему белому свету. Расходятся золотые лучи и звенят, как струны, на звончатых гусях. Вторят тем гусям люди и поля, леса и горы, вся земля...

– Кто, нянька, песню выдумал?

– А кому ж, Михайлушка, этакую красоту придумать? В народе живет, и народ жив ею. Кончится песня – жизни конец. Вот и берегут люди песню...

Михайла Иванович у оконца посиживает, от няньки новых песен требует. А об нем бабушка печется. Никуда внука не отпускает и к нему – никого.

Но настал такой день, когда Мишу не пустили в бабушкину опочивальню. В доме поднялась суматоха. Пономарь понес к бабушке большие церковные свечи. Отец Иван, проходя, Мишу по голове не погладил. Вечером съехались соседи. Чужие люди в бабушкины комнаты, как в свои, пошли. Там запели протяжно, грустно, и мальчик почувствовал беспокойное одиночество: даже нянькам, и тем не до него.

Миша вышел в залу. Навстречу ему сестренка Поля семенит ножками. Увидела брата и от удивления – палец в рот:

– Ты чей?

– Бабушкин. А ты?

– Маменькина! – и тоже от него повернула.

Тут матушка Евгения Андреевна, незаметно подойдя, обняла сына и притянула к себе Полю, стала молча обоих целовать. Миша первый раз увидел сестру Полю так близко в ласковых матушкиных руках и вдруг понял, что случилось что-то очень важное.

Больше он никогда не видел бабушку. Двери на опустевшую половину Феклы Александровны никогда больше не закрывались.

Шесть лет был он бабушкин. На седьмом году к родителям вернулся.

## Глава седьмая

Быстро шагает по пустым комнатам нового дома Иван Николаевич и с ним молодой архитектор, выписанный из Москвы. Хозяин наглазок прикидывает, архитектор в брульон заносит.

– Здесь поставим мебель желтого клену, а сюда – дуб. Люстру в залу желательно венецианского стекла... – И, отдавая распоряжения, вдруг задумается хозяин: не ко времени, кажись, стройку затеял... Предводитель опять о рекрутском наборе говорил. Неровен час...

Но если уж задумал Иван Николаевич – по-свойски размахнулся. Выкатил в Новоспаском такие палаты – хоть столице впору. Соседние господа-дворяне опять завздыхали: «Дурит новоспаский модник, до добра не додурится: умным людям не в красоте, а в тепле жить!»

Но дом вскоре был готов. Он встал над Десной в два жилья, раскинув белую колоннаду. Старый дом будто меньше стал, будто в землю врос – попятился перед новым хозяином.

По весне стали переезжать и переезжали долго, хлопотливо. Наконец двинулся на новоселье и Михайла Иванович с Карповной и Авдотьей, которые оставлены при нем, чтобы не почувствовал мальчик многих перемен. А как их не почувствуешь, когда переменялось все, даже собственное имя. У бабушки был он Мишенькой да Михайлой, величали и Михайлом Ивановичем, а батюшка с матушкой перекрестили в Мишеля. Жил он у бабушки в тихом затворе, теперь со всех сторон люди, во всем новые порядки. Ну как в таком доме жить, чтобы не потеряться! Того и гляди, заблудишься в залах да гостиных, между кабинетом и бильярдной, в столовых, в диванных, в проходных...

Мишель поднялся во второй этаж по широкой лестнице с точеными перилами и вошел в большую светлую детскую. Детская походила на кочевой табор. В одном углу расположилась сестра Поля и с ней ее няньки; в другом – сестра Наташа и при ней опять няньки; в третьем углу обживается совсем еще не известная сестра Лиза, при ней кормилица и тоже нянька. Кто с куклами, кто с пеленками, кто обедать собирается, кто песни поет.

Мишелю отведена рядом особая детская. У наследника во всем особое положение. Но хочешь – не хочешь, надо приглядываться к населению соседних горниц.

Поля и Наташа кукол потчуют. Собрали остатки от нянькиных обедов: тюрю, саламатину, клецки.

– Отведайте хлеба-соли, не обессудьте на угощении!

А куклы не едят. Не хотят ни тюри, ни саламатины, ни клеток. Мишель стоит сбоку и наблюдает, как хлопочут сестры.

– Сейчас чай подадут!

– Ну и дуры! – спокойно вставляет Мишель. – Чай сейчас нельзя. Сначала разговор надо, потом варенье подавать, а уж потом чай.

Не легкое дело приспособиться к девчонкам. Вздумал было им божественную книгу почитать, что бабушке читал. А Поля по-своему сообразила: начинается новая игра, в церковь; бухнула на колени и в землю лбом, а глядя на нее, и Наташа, да поторопилась: шишку себе набила и – в рев. А неизвестная сестра Лиза ей со всем усердней подтянула.

Пробовал Мишель и сказки рассказывать. Память у него безотказная, все, что от няньки слышал, помнит слово в слово.

– Пра. Егория Храброго знаете?

– Нет, а ты знаешь? – девочки присели на корточки, смотрят на него, как галчата на корм.

– ...Вот пошел Егорий по святой Руси, по сырой земле, – Мишель прислушивается к плавному течению слов: вот-вот обернутся слова песней, – по святой Руси, по сырой земле...

– А куда пошел?

– Опять дуры! – сказал Мишель, будто в сказку вставил, и спокойно продолжал: – Пошел далече, во чисты поля, бить-побить царица-басурманища!

Надо же показать, какой он есть, басурманище. А девочки испугались и бежать. Тут-то и накинулась на Мишеля Полина нянька:

– Не пугай дитя, вот подожди, придет Бонапарта, он тебе задаст!

Мишель часто слышит эти речи от няnek.

– Народился окаянный, объявился антихрист! – причитает Карповна.

– А может, и не антихрист еще? – с надеждой спрашивают няньки помоложе.

– Как же не антихрист? – сердится Карповна. – Ну как не антихрист, коли на Расею замышляет?

Вот и пойми, кто такой Бонапарта, какой антихрист, когда няньки толком сами ничего не знают!

Мишель махнет на них рукой и уйдет в свою детскую. Раскроет книжку, а сам опять прислушивается: что там, за стенкой? Там хоть и девчонки, и бестолковые, а все-таки с ними веселее.

Многое изменилось в жизни Мишеля. Он познал переменчивость вещей. У бабушки всякая погода плоха была, у матушки – любая хороша.

– Мишель, гулять!

Когда-то он сам на волю рвался. Теперь его не выгонишь из комнат, если хмурится небо, если гуляет по реке ветер. Мальчик хворает от всякого пустяка. Его одолевают боли и ломоты то в ногах, то в груди. Мишель то и дело прислушивается: ушли или опять вернуться? Так и живет с действительными и мнимыми хворями.

– Что нам делать с Мишелем? – тревожится Евгения Андреевна, беседа с мужем.

– А что?

– Болезни он себе выдумывает, свежего воздуха боится!

– Приучить надо. Матушка его избаловала...

Познакомила Фекла Александровна внука с болезнями на всю жизнь!

Пора было и учить Мишеля. В скором времени и появилась в детской гувернантка Роза Ивановна, маленькая, тощая, голова в завиточках, глаза – буравчики. Роза Ивановна сидит за столом, как неумолимый судья, готовый покарать преступника. Перед ней и орудия кары: из цветной бумаги дурацкая шапка, которую напяливают тебе на голову, если запнешься в ответе; рядом лежат крупные билеты с надписями: «за леность», «за нерадивость», за все про-

чие пороки, присущие человечеству. Эти билеты навешиваются тебе на грудь, если наскучит долбежка.

Перед Мишелем раскрыт французский диксионер. Надо переписывать его слово в слово, строка за строкой, а потом отвечать назубок. Подле Мишеля пыхтит над буквами Поля и цепенеет от страха. Мишель вывел какие-то каракульки и насупился:

– Больше не буду! – Потом задумался, соображая, какой билет выберет сегодня Роза Ивановна: – И все равно не буду!..

За обедом Иван Николаевич обратил внимание на странное украшение на груди у сына: – Это что?

– Наказание... – объяснил Мишель и добавил: – И все равно не буду!

Иван Николаевич вызвал Розу Ивановну к себе в кабинет. После того дурацкая шапка и назидательные билеты исчезли бесследно. А вскоре исчезла и сама Роза Ивановна. Учение опять остановилось.

Только молодой архитектор, прижившийся в Новоспасском после постройки дома, продолжал учить Мишеля рисованию и не мог надивиться: карандаш в детской руке работал легко, точно, смело. Учитель заставлял изображать носы, глаза, уши, подбородки, головы и требовал точного подражания оригиналу. Мишель выполнял уроки с усердием, но без всякого воодушевления.

Не то собственные картины, на которых появляется лес, звонарь Петрович, новоспасский дом, няньки, колокольня...

Вот стоит на картинке новоспасская колокольня. В верхних ее прорезях все колокола видны, в них Мишель знает толк: самого малого не забыл. Кажется, все на картинке на месте, а главного все-таки *нехватает!* Ведь колокола-то звоном зашлись, а на картинке звона не слышать. И вся картинка становится скучной.

Еще забота: над колокольней кружат стрижи. Известно, молчаливых стрижей не бывает, а на картинке их не слышно. Стало быть, и колокольня на правду не похожа, и стрижи – не стрижи. Есть над чем задуматься живописцу: может быть, есть такие картинки, на которых все услышать можно? В Голубиной Книге, про которую нянька поет, картинки, поди, тоже поют?

Мишель берется за любезные сердцу колокольцы, переселившиеся в детскую вместе с ним. И хоть нет в детской ни колокольни, ни стрижей, но стоило тронуть колокольцы, тотчас встала перед тобой колокольня и с гомоном понеслись стрижи. Мишель даже зажмурился от восторга, а песня поднялась выше колокольни. Но кто же ее поет? Стрижи? Нет, им только гомонить впору. Значит, колокольцы? Нет, и не они. Колокольцы давно не шелохнутся. Давно и сам Мишель стоит, не шевелясь, а песня все еще бьется у него в груди, как стриж. Можно до вечера просидеть теперь на скамеечке в углу детской, погружаясь в синие сумерки...

Впрочем, и тут непременно помешают, и опять девчонки! Мишель уживается с сестрами с невозмутимым добродушием. Ему не мешают ни они, ни няньки, ни куклы, ни вся их сорочья сумятица. Мишель уступчив в каждой мелочи и не переносит только одного: резких, пронзительных звуков. А девчонки забрались в классную к старому фортепиано, бьют по клавишам всей пятерней. Фортепиано как рывкнет: «Вот я вас, у-у-у!..»

Мишель морщится и бежит в классную.

– Не смейте, негодницы! – и даже глазом на негодниц сверкнул, будто сама бабушка Фекла Александровна. Но едва опустил на фортепиано крышку, сразу успокоился и сказал примирительно. – Только музыку портите, курослепы!

Курослепы надули губы и потянулись гуськом к своим углам. Мишель еще раз глянул на притихшую музыку.

Первая встреча с ней произошла у него вскоре после переезда в новый дом. Обследуя верхние горницы, Мишель подошел тогда к фортепиано, поднял крышку и тронул одну косточку, потом другую. Что ж это такое? Ни на что не похоже: ни на Авдотин голос, ни на

колокольный звон. Звуки прыгали под пальцами, как блохи: вверх, вниз, туда, сюда – никуда. Еще раз постучал и отошел в полном недоумении Да что ж это такое?

Спасибо матушка объяснила, музыка. Мишель насторожился: к чему она?

А матушка, вспомнив девичьи годы, села к фортепиано и заиграла. Мишель глянул на матушкины руки, потом на клавиши. Звуки роились, как пчелы, летели и нависали целыми гроздьями. Ни одна песня так не ходит. На лбу у Мишеля залегла сумрачная складка. Он все слышал, каждый звук и все вместе, но ничего не понимал. Должно быть, музыка летела вовсе не к нему. А так тоже никогда не бывало с песнями. Мальчик склонил голову набок, стремясь проникнуть в музыку, но чем дольше слушал, тем больше шевелилось в нем глухое беспокойство. Он поднял глаза на матушку, на ее оживленное лицо. Неужто невдомек матушке, какой в музыке беспорядок? Отошел от фортепиано и затих.

А потом стал требовать от Авдотьи Ивановны песен, будто торопился вернуться домой, где все знакомо, все на месте.

– Бог с ней, с музыкой, пой, Авдотьюшка!..

Но все-таки нет-нет да и косился на фортепиано, особенно когда пробирался мимо него к старому шкафу, что стоит в проходной за батюшкиным кабинетом. Тут тебе не бестолковые косточки, тут живут премудрые книги.

Хоть и немного их в шкафу, а все-таки водятся. Иную батюшка Иван Николаевич еще из столицы вывез, другую знакомцы ему в презент прислали, а есть и такие, про которые никто не помнит: откуда они взялись? За годы многие книжки по листику разошлись. Зато другие живучи оказались. Схоронились в старом шкафу и живут бок о бок, как случайные путники, задержавшиеся на почтовом дворе. Раскроются дверцы шкафа, и понесет каждая книжка свое наставление людям. У каждой свой предмет, свои мысли, своя судьба-дорога. Но куда бы ни занесла судьба книгу, она себе книжника непременно отыщет. Вот хоть бы и эту взять: «Примечатель света, или живи подумав».

Что тот «Примечатель света» означает, не очень понятно Михайле Глинке, но разве удержится книголюб, чтобы не потрепать пожелтевшие листы! Куда как весело перебирать книги, особенно если привернет в Новоспасское желанный гость Иван Маркелович, господин Киприянов, дальний Глинкам свойственник и ближний сосед. Надо только *во-время* перехватить Ивана Маркеловича, пока не засел он в батюшкином кабинете или на матушкиной половине, а там «Примечатель света» или какой-нибудь «Челночок счастья» сам довершит дело.

– Ишь ты, – бережно берет «Примечателя» Иван Маркелович. – «Живи подумав»!.. Умная речь. Каждый день, каждый час подумай, а потом и живи. Ты, умник, заглядывал ли в сию книжку?

Забыл, должно быть, Иван Маркелович, что умнику пошел всего восьмой год. Впрочем, когда господин Киприянов извлекает из шкафа «Любомудрие противу мнимых страхов смерти», он тотчас отправляет книгу обратно в шкаф.

– Этого филозо́фа в сторонку отложим, пожалуй, раненько для тебя... Прочти-ка лучше здесь, презанимательный предмет сочинитель трактует!

Набрав дыхание, чтобы хватило на все заглавие, Мишель читает вслух:

– «Воздушной говорящий, или повесть булавки и ее знакомцев, собственное ее сочинение в четырех частях».

– Смотри-ка, умник, бездушная булавка, и та в сочинительницы вышла! – удивляется Иван Маркелович. – Следственно, и булавке есть что людям поведать. Что она есть? Безделка! А глядишь, и через безделку открываются нам таинства Натуры. Да и нет у ней, у матери нашей Натуры, безделок. Всякий предмет свое предназначение имеет. Все на свете знать надобно. Так-то, разумник! Сию книжицу со вниманием перечти!..

Разумник, конечно, перечтет. Но пока гостит в доме Иван Маркелович, ни на шаг не отойдет от него Мишель.

Если ему удастся отвоевать Ивана Маркеловича от бабушки и матушки, увести его в детскую да прикрыть поплотнее двери, чтобы не помешали девчонки, тогда долго рассказывает Иван Маркелович о разных землях: где какие люди живут, какие звери водятся, какие в каких царствах история приключилась.

И расступаются стены детской, и воображение, взмахнув крылами, ведет странствователей по горам и долам, по морям и океанам, по утренним и вечерним зорям. Но увы, уже опускается над Новоспасским вечерняя мгла. Тогда снова смыкаются стены детской, а у подъезда ладят Ивану Маркеловичу его древний возок.

Распрощавшись, он усердно ищет свой дорожный картуз.

– Во благовремение, умник, опять приеду!.. Не поминайте лихом!

– Счастливого, Иван Маркелович, пути!

Возок трогается. Еще раз помахавши картузом, Иван Маркелович нахлобучивает его на седую голову... И вот уже скрылся из глаз дорожный картуз.

Только книги-филозофы да булавки-сочинительницы остаются в утешение Мишелю. Впрочем, в старом шкафу есть еще одна книжка толстой бумаги, крупной печати. В той книге какая-то прекрасная Шехерезада рассказывает истории свирепому падишаху. Как попала та прекрасная девица Шехерезада к смоленским типографщикам и почему явилась в свет, тисненая в Смоленске, – неизвестно. Но будто бы будет она рассказывать свои истории ни долго, ни коротко, а тысячу и одну ночь! Если выполнит такое намерение хвастунья Шехерезада, тогда, пожалуй, она и няньку Авдотью за пояс заткнет? Только где же ей!..

Мелькают дни, бегут страницы. Но все еще не сдастся затейливая красавица. Одну сказку кончила – и опять: «Начала Шехерезада сими словесами...»

## Глава восьмая

– Нянюшки, переоденьте Мишеля, в Шмаково поедет!

Чтобы оторвать сына от книг, Евгения Андреевна пускается на всякие хитрости, – только не всякая поможет. Самое верное средство: взять его с собой.

Ехать с матушкой и с бабушкой – больше, пожалуй, и удовольствия на свете нет. А в Шмакове Мишель, как из бабушкиного затвора вышел, до сих пор не бывал.

– Да не копайся, Карповна! – Барчук вывернулся из нянькиных рук и опрометью выскочил на парадное крыльцо. – Здорово, Прохор! – Обошел вокруг коляски. – Здорово, Воронок! Здорово, Звёздочка!

А кони гривами ответно машут: садись скорей, трогать, что ли?

Коляска выехала на крутой луг, покатила мимо фруктового сада. Наперегонки бегут к дороге яблони, каждой хочется первой знать: «Кто едет?» Он едет! Новоспасский барчук с матушкой и бабушкой да с кучером Прошкой. А несут коляску Звёздочка и Воронок. Неужто не узнали?

Узнали! Давно всех узнали яблони и опять назад отбежали. Во все стороны от дороги залегли теперь озимые и яровые. Густой зеленью обозначил свои пределы лен. Лен будет провожать до самого леса. А в лесу ели встретят, протянут в коляску колючие лапы: «Здравствуй, Михайла, куда торопишься?» А торопиться Мишелю и некуда, хоть бы довеку длилась такая езда. Бабушка с матушкой переговариваются и оба смеются. Должно быть, и им полюбилась дорога в Шмаково.

Но вот уже сверкнули за поворотом студеные струи Стрянки. Стрянка, обнявшись с Будянской, как родные сестры, льются в шмаковское озеро. А над озером стоят дозором вековые пихты. Кто бы к усадьбе ни ехал, дозорные еще издали увидят; расступятся пихты: «Добро пожаловать!» – и широкая аллея принимает гостей в прохладную тень.

Звёздочка и Воронок мчат коляску по парку мимо наливных прудов, прямо к дому.

А с подъезда уже спускается дядюшка Афанасий Андреевич, и тетушка Елизавета Петровна смотрит в черепаховый лорнет. Приветствия, объятия, поцелуи...

– Наконец-то Михайла Ивановича привезли! – говорит дядюшка. – А пока везли, он состариться успел. Ну, здравствуй, старче! – а сам Мишелю подмигивает.

С дядюшкой Афанасием Андреевичем, пожалуй, не соскучишься. И в Шмакове тоже очень хорошо. Ходи себе по комнатам, осматривайся, а забрел в галерею с картинами, можно у каждой постоять вволю. Вон сидит подле озера храбрый охотник. Озеро при нем – с пятачок, а перо на шляпе – в золоченую раму уперлось. Места ему на картине *нехватило* – во какое перо!

– С предками беседуешь, гость дорогой? – подошел Афанасий Андреевич. – А у меня для тебя сюрприз есть.

И повел Мишеля неведомо куда. Прошли через боковую залу с намалеванным на холстине замком. Под замком были сложены трубы, а над ними подвешены за длинные шеи скрипицы, отделанные в огневой и золотистый лак.

– Что это, дядюшка?

– Мусика, пение сладкое! Так нас, старче, по букварю учили: му-си-ка!

Дядюшка смеется, а Мишель нахохлился: мало музыки, еще мусика объявилась. Вот так сюрприз! Но дядюшка уже вел Мишеля новыми переходами, попутно запустил ему «козудерезу» и вдруг остановился перед закрытой дверью:

– Что там? Отгадай!

– Не знаю...

– Там медведь сидит! – заревел Афанасий Андреевич и пошел на Мишеля медведем. Ой, сейчас завернет дядюшка салазки!

– Знаю, знаю, – отбивается Мишель, – совсем не медведь!

– А кто? Не отгадаешь – в мешок посажу!

И действительно: дядюшка вынул из кармана мешочек.

– Закрой глаза!

Зажмурился Мишель и слышит, как щелкнул замок. Невозможно утерпеть! Открылась дверь, а за дверью – комната. В комнате сетка, а за сеткой – лес. И в лесу – птицы! Птицы на ветках сидят, птицы по лесу летают, птицы в клетках поют.

Дядюшка зашел за сетку – птицы еще больше шуму подняли. А он насыпал на ладошку семян из мешочка и тонко засвистал:

– Цик-цик, Захар Иванович! Цик-цик, Захар Иванович, пожалуйста сюда!

Из-за елки кто-то в ответ: цик-цик... – и какая-то птица, сев на дядюшкин палец, клюнула семя: цик-цик...

На птице кафтан коричневого пера, на груди – желтая манишка в крапинку. Носик кверху подняла и залилась; одно колено кончит – и за другое.

– Разбираешь? – спрашивает Афанасий Андреевич. – Слышишь: «Никита, Никита, чай пить!»

Мишель давно голову набок: в самом деле, птица явственно выводит: «Ни-ки-та, Ни-ки-та...»

– Да какого же она, дядюшка, Никиту зовет?

– Благоприятель у него в лесу есть.

– И прилетит?

– А как же? Чай пить!

Птица и впрямь высвистывала и выщелкивала: «Чай пить, чай пить!»

Вот и пойми: шутит дядюшка или в Шмакове такие чудеса творятся, что птица к птице в гости летит и чай распивает? Не знал Мишель, что дрозд Захар Иванович всем дроздам дрозд был, что подивиться на его искусство даже московские гости приезжали. Только сам Захар

Иванович не придавал, видно, значения высокому своему званию: корму поклевал и юркнул за ель, ровно нечиновная вертихвостка.

В птичьем дядюшкином царстве свистели камышовки, хлопотали черноголовки, верещал скворец. Откуда-то долетала нежная, грустная песенка: будто играл ее на невиданной дудке невидимый музыкант.

Да как же он, Мишель, до сих пор без птиц жил?! В этот день и открылась в нем птичья страсть. Кем бы ему в жизни ни быть, не расстаться с птицами до последнего дня.

– Ишь ты, птичий любитель! – подивился Афанасий Андреевич. – Коли так, отпущу к тебе варакушек.

– Живых?! – у Мишеля загорелись глаза.

– Нет, чучела набыю, тебе, чучеле, подстать! Ну, как же не живых? Вот этих хочешь?

– Хочу, дядюшка, хочу!

– Стой, – спохватился Афанасий Андреевич, – стой, старче!

«Какая еще беда?» – замирает сердце у Мишеля.

– Как же я их к тебе отпущу, – размышляет в затруднении дядюшка, – когда они в Новоспасское дороги не знают?.. Григорий!

Григорий вырос перед дядюшкой, как лист перед травой, и Афанасий Андреевич уже приказывает ему отсадить двух варакушек в малую клетку. Мишель готов расцеловать и дядюшку и Григория в придачу. Сейчас принесет Григорий клетку!

– Стой! – грозно останавливает его Афанасий Андреевич.

Григорий вернулся и опять уставился на дядюшку.

– А ты вот что. Ты сперва каждую птицу в отдельности спроси: желаете ли, мол, в вотчины Михайла Ивановича господина Глинки переселиться? Неволить никого не будем, понял?

– Слушаюсь! – не моргнув глазом, отвечает Григорий. – Все в точности исполню!

Мало, значит, что птицы у дядюшки чай пьют, они еще на вопросные пункты отвечают. Но такому обману Мишель, конечно, не поддался. Ясное дело, сейчас принесет Григорий варакушек. Но Григорий, дойдя до дверей, повернулся на каблуках и вдруг со всего размаху ударил себя в грудь да как взвывает истошным голосом.

Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна...

Ах, если бы со мной погибла вся вселенна!..

Такого поворота событий Мишель никак не ожидал. Не искушенный в тайнах трагического театра, он бросился под защиту дядюшки. Но Афанасий Андреевич даже глазом не повел, и сам Григорий немедленно исчез после экспромта, будто в самом деле провалился в адскую бездну. Судьба варакушек снова стала сомнительной.

А у дядюшки с батюшкой – разговор, у тетушки Елизаветы Петровны закуски да десерты, пока не подали на стол свечи. И Мишель успокоился только тогда, когда получил, наконец, обещанную клетку в собственные руки. А теперь бы и домой! Вон как варакушки торопятся! Скорей домой!

Но вместо прощальных сборов дядюшка, беседуя о чем-то с Евгенией Андреевной, вдруг стукнул по столу:

– Не я буду, если не услышите удивительную ораторию!.. Ах да, – спохватился Афанасий Андреевич, видя удивление гостей, – никак я вам еще не читал примечательного письма? Григорий!

Через минуту мрачный Григорий возвратился с большим серым конвертом за сургучными печатями. К удивлению Мишеля, Григорий не собирался теперь ни с кем драться. Он молча подал конверт дядюшке, но тут сам дядюшка ловко щелкнул конвертом по носу племянника, и варакушки снова забились в клетку в смертельном испуге.

– Прошу внимания и тишины! – укоризненно глядя на варакушек, оказал Афанасий Андреевич и развернул убористо исписанный лист.

## Глава девятая

– «Любезный друг Афанасий Андреевич, – читал дядюшка, – слушали мы в Белокаменной сего лета 1811-го преславную ораторию «Освобождение Москвы, или Минин и Пожарский». И как ты, высокочтимый друг, к театру изрядное любопытство имеешь...» Ну, тут писаны мне приличные комплименты, – Афанасий Андреевич пропустил несколько строк, поискал глазами и продолжал: – «а сочинил оную ораторию бывший капельмейстер графа Шереметева, крепостной его сиятельства человек Степан Дегтярев. На ораторию был великий съезд. Музыкантов и хору было объявлено двести человек. Но не сие многолюдство вызвало волнение зрителей. Вспоминая о славных мужах древности, кто не думал о нынешних тревогах отечества? Нет, любезный друг, не праздная толпа встретила Степана Дегтярева, когда он занял место дирижента. В едином помысле замер зал, когда в музыке сильной прозвучал первый голос: «Готовьтесь, граждане, ужасну слышать весть!»»

За столом царило молчание. Дядюшка испил брусничной воды и вернулся к письму:

– «Я вопрошу тебя, как вопрошал себя: не той ли грозной вести ждем ныне и мы, когда над Неманом тучей встал Буонапарте? Но тотчас раздалось ответное слово Кузмы Минина: «Нет, нет, мы хищникам докажем, что Россов им не победить!» Буря промчалась по залу от кресел, занятых первыми вельможами, и до хоров. Не стыжусь сказать тебе, спутник юности моей, в этот вечер я видел слезы у многих и плакал сам. Единая любовь к отечеству способна исторгнуть сии слезы – в них закаляется дух!...»

Мишель то тревожно поглядывал на притихших варакушек, то пытался проникнуть в суть непонятого письма: как поют и играют разом двести человек, что за люди Минин и Пожарский? Но именно эти вопросы так и оставались без ответа, хотя Афанасий Андреевич уже заканчивал чтение.

– «Раздели ж и ты, досточтимый друг мой Афанасий Андреевич, одобрение и восторг, которые выразила вся Москва на повторении сей оратории. Столичные толки о ней не прекращаются и до сего дня». Клянусь небом и преисподней, – вскричал дядюшка, и голос его стал похож на голос Григория, – услышим и мы преславную ораторию Степана Дегтярева!..

Афанасий Андреевич решительно встал из-за стола, все тотчас поднялись за ним и пошли в ту самую боковую залу, в которой обитала подле намалеванного замка мусика.

Неужто не шутит более дядюшка, неужто сейчас и явится сюда неведомая оратория и грянут ей встречу двести человек! Мишель так боялся опоздать, что всех опередил.

Но в зале не оказалось ни оратории, ни Минина и Пожарского, ни Степана Дегтярева. На стене по-прежнему висел намалеванный замок, а под замком сидели дядюшкины дворовые люди: кто с дудой, кто со скрипичей, кто с трубой. Перед дворовыми стоял скрипач Илья. На Илье зеленый фрак, на голове у Ильи взбит французский кок. Кок на дядюшку уставился, и Илья туда же равнение держит. Вот так оратория!

Между тем Афанасий Андреевич неторопливо уселся, вынул из кармана платок, разгладил и высоко поднял его в руке.

– А это бы к чему? – снова заинтересовался Мишель.

– Мегюль, – прошептал дядюшка, – великого господина Мегюля увертюра «Двое слепых»!..

– А где же слепые? – присматривался Мишель.

Но в это время Афанасий Андреевич взмахнул платком, Ильёв кок взметнулся, как встрепанный, за ним привскочил, притопнул Илья, и, глядя на его ногу, пустились кто во что горазд все музыканты.

Афанасий Андреевич слушал и нежился, как кот на солнышке, и чуть-чуть не мурлыкал: «Ме-гюль!..»

Тетушка Елизавета Петровна чувствительно вторила ему, глядя в неразлучный черепаховый лорнет:

– О, voilà ça Méhul!<sup>4</sup>

Как фыркнет вдруг на нее Афанасий Андреевич:

– Тс-с, не мешай, Христа ради! – и опять за свое: – Ме-гюль!..

Евгения Андреевна слушала музыку в мечтательном волнении: для нее возвращалась شماковская милая юность. И была оттого задумчива и так хороша Евгения Андреевна, что Иван Николаевич смотрел на нее и совсем засмотрелся:

– Ты мне, Евгеньюшка, всех музык краше!

Не стал бы Иван Николаевич на музыку и время терять, да Афанасий Андреевич такой обиды до смерти не забудет.

Музыканты играли пьесу за пьесой. Никто не заметил, куда пропал Мишель.

А его подхватила, закрутила и понесла звонко-кипящая волна: «Сюда, сюда!» – ласково кивали ему из замка скрипки. Мишель бросился к ним, пробиваясь через всю многоголосицу. «Сюда, к нам! – скрипки бежали к нему навстречу. – Сейчас мы откроем тебе ворота!» И сами собой раскрылись волшебные врата: «Входи!»

«Куда? Куда?» – наскочил на него гнусавый фагот и встал поперек пути. «Куда?!» – взревели вслед за фаготом трубы, свиваясь в холодные блестящие кольца.

Мишель отпрянул, огушенный, к замку. Но теперь перед ним лесом поднялись смычки. И сами коварные скрипки, забыв о нем, закружились в обнимку со стройным кларнетом. Маленькая флейта бежала вслед за ними вприпрыжку, рассыпаясь мелкой печальной дробью: «Ку-да, ку-да, ку-да?..» Но никто ей не отвечал. Только у труб еще шире раскрылись злые пасти. Каждый спасался от них как мог. Новая волна, кипя и сверкая, обдала Мишеля. Он схватился за тонкую нить, брошенную ему флейтой. Но тотчас перед ним разбежались по оркестру тысячи таких же неуловимых нитей. Они сплетались в звонкую паутину, через которую он не мог пройти. Мишель слышал каждый всплеск, каждое дыхание музыки и стоял перед ней растерянный и потрясенный: в волшебный замок нет входа, из него нет выхода! Кто же назвал тебя, мусика, пением сладким?..

Когда Мишель очнулся, перед ним опять висел на стене намалеванный замок, и музыканты, сморкаясь и откашливаясь, убирали инструменты.

Только на крыльце, когда новоспасские гости усаживались в коляску, Мишель тронул за рукав Афанасия Андреевича:

– Как зовут трубу, дядюшка, которая кренделем?

– Кренделем? – не понял Афанасий Андреевич. – Ты что же: спишь, а во сне крендели видишь?

– Вовсе не сплю Она с краю сидела, как ее зовут?

– Эврика! А ведь и верно: крендель, ишь какой глазастый – крендель сразу приметил! Та труба, мой друг, валторной зовется. Валторной, если упомнишь!

А как же ее не помнить, если она и ревела громче всех? Надо от валторны подальше жить.

В коляске, которую несли к Новоспасскому Звездочка и Воронок, ехали شماковские переселки – варакушки. Крепко держа клетку обеими руками, Мишель прикорнул к Евгении Андреевне. А музыка незаметно подкралась к нему и хотела было опять его подхватить. Но из клетки, что держал Мишель, выпорхнул сам дядюшка Афанасий Андреевич и погрозил пальцем: «Тс-с, мусика, пение сладкое! Пой ему байку, Авдотья!..»

---

<sup>4</sup> О, вот это Мегюль!..

## Глава десятая

Варакушка, спору нет, птица не из важных. Зато и гордости в ней нет. Варакушка и в канаве угнездится, и в придорожном ольшанике обживется, и незавидным слизнем сыта будет. Скромная птица – всем довольна! На воле варакушки пели, у Афанасия Андреевича пели, будут петь и у Мишеля в детской.

Конечно, неровня варакушка соловью и даже от малиновки отстала, а петь охоча. Знай сверлит свое: и присвистнет, и прищелкнет, и на разные голоса пройдетя. Умная птица никогда на один голос не поет. Зачем прибедняться, если можно перенять коленец у знатных певцов?

На пение птиц стал заходить в детскую дворовый мужик Аким. Он у Ивана Николаевича на все руки мастер: и позолотчик, и резчик, и краснодеревец; чему у московских мастеров научился, а до чего сам дошел.

– Акимушка, сделаешь мне клетку побольше?

– А кого в нее сажать будем?

– Птиц заведу.

– Каких это птиц?

– Все равно каких, только много-много...

– Вот и неправильно судишь, Михаил Иванович, птицу различать надо. Про другую думаешь: правильная птица, а посмотришь – ничего в ней нету, одна птичья видимость... Ямщика знаешь?

– Которого?

– Да нет, птицу-ямщика, поползня, скажем. Он всю жизнь просвистит: фють-фють, ни дать ни взять – лошадей погоняет. А песни ему нет! Почему, не знаешь вот? А потому, милый, что нелюдимом ямщик живет, своих же братьев чурается. Если приведется ямщику ямщика встретить – беда! Что крику, что злобы! И опять летят в разные стороны: чтоб никогда, мол, нам не видаться... Опять же и некогда ямщику петь: жадность его одолела. Натащит в дупло конопля, да зерна, да подсолнуха, да еловых семян, да всякой снеди – не только ему с семейством прокормиться, на гренадерскую роту хватит! А его опять беспокойство точит. Ну и нет ему песни... У людей, мил душа, тот же закон...

– А дальше, Аким, что?

– А дальше – возьмем хоть овсянку птицу. Ничего у ней, сердешной, нет, никакого обзаведения, и сама невеличка. А ты послушай, как она песней звенит и сама на ту песню радуется. Я у толковой овсянки двенадцать ходов насчитал. Один в один – дюжину, вот тебе и овсянка! Даром что звание у нее простое. Кому, выходит, жить веселей: ямщику или, скажем, ей, овсянке? За усердие она песней награждена, за то, что птичьего звания не посрамила... Овсянок я тебе и достану на первый случай. А оправдаешься, и других песельниц заведем!..

От птичьих разговоров пошла у Мишеля дружба с Акимом. И раньше Акима каждый день видел, а главное в нем только теперь открылось: тоже птичья страсть. Неистощим был в своих рассказах Аким. И насчет птиц барчуку, точно, поусердствовал. В детской запели целые птичьи хоры.

Жить бы и слушать их, но что-то вселилось в привычный мир и отозвалось в нем тревогой. Мишель все чаще слышит тревожные слова: Бонапарт, война. И невиданная хвостатая звезда зажглась вдруг в небе. Она подолгу сияла тревожным светом, притягивая людские взоры. Потом по всей округе занялись лесные пожары, словно зажгла их звезда огненным своим хвостом.

На барскую усадьбу заходил старый солдат, кавалер Егор Васильевич Векшин. После дальних походов он живет в Новоспасском на покое. С нянькой Карповной кавалер не то в свойстве, не то в кумовстве. Отчею же и не зайти под вечер на усадьбу?

Сидит Егор Васильевич на женском крыльце, а вокруг него няньки. Любопытные из дворни тоже подтянулись. А барчук Егору на грудь уставился. На старом мундире на закопченной ленточке поблескивает у Егора крест. Ленточка от давности стерлась, а на серебряном кресте хорошо видать, как всадник разит чудовище копьём. Он и есть: Егорий Храбрый!

Кавалер прикрыл коричневой рукой выцветшие глаза, щурится на звезду.

– Ну, кавалер, какие ты об ней мысли имеешь?

Помолчал Егор Векшин, потянул ноздрей лесную гарь:

– А что ж тут думать? Думать нечего – к войне!

– Да что ты, дед, ошеломел, что ли? – втесался в разговор поваренок Николка. – Война, дед, который год идет аль забыл?

– Та война не в счет. Та война дальняя, на Туретчине. За ту войну не стал бы господь этакое знамение являть.

– А нишкни ты, пострел! – замахали на Николку няньки. – Может, та звезда Бонапарта ведет? Вот ты, Васильич, во всех землях воевал, не встречал его, антихриста?

Вспомнил старик былые походы, поворошил в крепкой солдатской памяти:

– Когда мы с Александром Васильевичем генералиссимусом Суворовым в италийские земли ходили, били мы тогда, кажись, Бонапартовых генералов. А сам Бонапарт, нет, не встречался. Не привелось. А когда к австриякам на выручку ходили, опять же с Бонапартовым войском бились. Только и тут Бонапарт мне не встретился.

Замолчал кавалер, и люди замолчали. Опять смотрели на зловещую звезду.

– О господи, да неужто по ней Бонапарт идет?

– А может, и не дойдет? К нам в Расею отовсюду дальние дороги!

На том и порешили. Но едва отошел барчук от женского крыльца, весь переполошился: ведь чуть было он Ивана Маркеловича не упустил.

Мишель бросился к батюшкиному кабинету. Здесь Иван Маркелович! Его голос! Только никогда еще не бывал он в таких чувствах.

– «Если по неисповедимым судьбам провидения снова возгорится война между Францией и Россией, – читал батюшке Иван Маркелович, – Россия найдет новые силы...» Найдет! – повторил господин Киприянов, отрываясь от журнала. – Бог не выдаст, Бонапарт не съест!

Мишель юркнул на любимый диван, под подушку, которую стережет вышитый мелким бисером пудель. Пристроился к пуделю – нечего делать, придется обождать. Не любит батюшка, когда его беседы прерывают.

– Нуте-с, – уставился на Ивана Николаевича господин Киприянов, – сочинителю, стало быть, все известно? Стало быть, решился узурпатор? Во всеоружии нападет?

Иван Маркелович водит пальцем по полям «Русского вестника», словно ищет там скрытых мыслей сочинителя.

А может, те мысли ведомы Ивану Николаевичу? Ведь сочинитель статей противу Бонапарта Сергей Глинка, хоть и дальняя, а все-таки родня новоспасским Глинкам; все они, Глинки, одного корня.

– Ответствуйте, сударь мой! – наступает Иван Маркелович на батюшку.

Но Иван Николаевич молча перечитывает журнальную статью.

Батюшка Иван Николаевич, наконец, отложил в сторону «Русский вестник».

Однако долго еще придется Мишелю довольствоваться обществом одного пуделя на диванной подушке.

– А что пишет вам достопочтенный Александр Иванович с дунайских берегов? – спрашивает Иван Николаевич у господина Киприянова.

– Там Михайла Ларионыч Голенищев-Кутузов неукоснительно турок бьет. О том и отписывает сын!

– Нам бы поскорее там руки развязать, – говорит батюшка, быстро шагая по кабинету. – Все турецкие шашни от Бонапарта исходят и ему же куражу придают.

И только помянул батюшка Бонапарта, опять так вскипел Иван Маркелович, что ничем его не уймешь.

Не шелохнувшись, сидит на атласной подушке терпеливый пудель.

Изнывает подле пуделя юный книжник. Не придется перебирать сегодня с Иваном Маркеловичем книги...

И хвостатая звезда все тревожнее горит в осеннем небе. Не от нее ли и птицы до времени потянулись из Новоспасского?

Только варакушки, зорянки да малиновки остались зимовать в детской у Мишеля. Рады бы, пожалуй, и они улететь, да крепко сделаны клетки у Акима.

Придет Аким в детскую, присядет у клеток, и пойдет опять птичий разговор.

– Достану тебе, Михайла Иванович, юлок.

– А красивые они?

– По перу птицу не суди, не московская купчиха. Ты птицу по голосу принимай. Ворона, поди, себя тоже в первых птицах считает. А к чему она есть? Я так думаю, только другим птицам в поучение: если которая из вас в гордыню впадет, – это, слышь, господь бог птиц наставляет, – отниму у ней песню!.. Вот птицы и остерегаются: в вороны никому неохота... У птицы жизнь воздушная, песенная и характер должен быть легкий. Ты, Михаил Иванович, при случае к снегирю присмотришь. Посмотришь на него, когда на снежку растопырился, – истинно генерал. Весь в красный парад обмундирован. Уж очень против других птиц фасонист!

– А ты достань мне снегиря, Акимушка!

– Снегиря? – чуть не с упреком переспросил Аким. – Да на что он тебе надобен? Ни тебе от него радости, ни ему самому счастья нет!

– Да почему так?

– Баба у него злющая! – отрезал Аким. – Злее снегиряхи зверя не сыщешь. Шипит да в драку лезет. Нет от нее снегирю ласки. Всю жизнь под началом ходит. Конечно, он, снегирь, тоже птица; ему, поди, тоже песни хочется. А как на снегиряху глянет, так и себя пожалеет: ки-ки! – вот и вся песня. Солнышко снег стонит, летят птицы на сытные корма, на семейное гнездование, только снегирю опять нет радости: он уже в дальний путь собирается, в холодные страны: авось, рассуждает, мою снегиряху морозы укротят! – да и там, поди, ту же судьбу терпит. Нешто от злой бабы спасешься?..

Аким мог бы добавить, что вот так же из опаски он и сам бобылем остался: чтобы никто не мешал ему птичьим голосам слушать. Да барчуку этого не понять: несмышлениш.

А несмышлениш, когда с делами управится, к печке скамеечку придвинет и думу думает: птицы пусть поют, а вот как ему с музыкой жить?

Музыка на фортепианах по косточкам ходит, а как ходит – не поймешь. Музыка в Шмакове живет, с Ильёвой ногой наперегонки скачет, а куда скачет – не видать. И только вздохнет новоспасский барчук, а музыка уж тут как тут: приступится, подхватит, понесет... И опять, как в Шмакове, манят скрипки: сюда, сюда!

А глянет Мишель в окошко детской – нет больше в небе хвостатого чудища. Померкла Бонапартова звезда. Только осень стелет тучку на тучку да знай кропит батюшкины сады и парки. И хотя скучно от дождей, а все-таки вернулся с ними на небеса порядок. И там теперь порядок, как в нянькиных песнях.

## Глава одиннадцатая

Вот и осень отплакала холодной слезой. Замело снегами все подъезды к новоспасскому дому. Теперь бы Мишелю побольше книг да песен и сказок. Зря нахвасталась прекрасная Шехерезада: *нехватило* у нее историй не только на тысячу и одну ночь, а даже сотой страницы, и той у растрепы не оказалось. Должно быть, растеряла их, пока добиралась в Новоспасское из Смоленска. А может быть, и в попутных усадьбах оставила по листику на память. Ну, вот и выручай теперь на долгую зиму, нянька Авдотья!

– А что приказать, Михайлушка, изволишь? Сказки сказывать или песни играть?

Трудную задачу задала нянька! Сидит-раздумывает барчук, но, должно быть, песни проворнее всех живут и сказку всегда опередят.

– Пой, нянька, «Поле мое, поле чистое»!

Одну песню заказал, а другие в памяти держит, чтобы хватило песен не на одну зиму, а на всю жизнь.

Только играть-то песни надо бы в тишине, а в доме все вверх дном. Жди, значит, гостей. И если бы хоть на день, на два, а то съедутся к матушкиным именинам на 24 декабря и, кажется, будут зимовать в Новоспасском.

На дворе возков, саней видимо-невидимо! Пробовал было Мишель сосчитать гостей: двадцать, тридцать, сорок... А тут как назло новые гости подъехали. Сбился – бросил считать.

К матушке на половину не проберешься. Там пишат гости-девицы. Им не попадайся! Увидят: «Мишель, душка, ах-ах!..» Горничные девушки бегают там взад-вперед с раскаленными утюгами и щипцами. Им тоже под руку не попадайся. Нет Мишелю доступа на матушкину половину. А у батюшки в кабинете от трубок и чубуков дым столбом. Там чуть не все соседи налицо. И наверху тоже покоя нет. В запасных горницах гости ночуют, в людских – приезжие лакеи, казачки, кучера.

В канун именин явились шмаковские музыканты. В зале с утра идут сыгровки. Притопнет Илья, заиграет вся музыка разом... Ну, и что?

Присмотрится Мишель к оркестру. Постоит, послушает: да ведь один Петрович всю Ильёву команду перекроет, если начнет на колокольне ростовский звон. Обойдет барчук музыкантов с другой стороны – еще дольше постоит: нет, не променяет он нянькиных песен на всю дядюшкину музыку!

Но для чего же стоит тогда неотступно в зале новоспасский барчук, пока не кончится вся сыгровка? Стоит, как вкопанный, и соображает. Но некому да и некогда его об этом расспросить. Уже весь дом гудит от гостей.

Матушкины именины приходятся на самый рождественский сочельник. В сочельник все притихнут: и музыка, и даже девицы-гости. Зато назавтра празднуют и Рождество, и именины Евгении Андреевны – все сразу!

Назавтра отец Иван отслужил заздравный молебен, пропели имениннице многолетие, и гости пошли к парадным столам. В столовой – столы, в проходной – столы, в зале – тоже столы. Все расселись и взялись за чарки. Тут Иван Маркелович провозгласил Евгении Андреевне здравицу, дядюшка Афанасий Андреевич махнул платком, и шмаковская музыка грянула со всем усердием. Музыканты старались, будто без них было мало шуму.

Но главные неприятности от музыки были все еще впереди. Едва убрали в зале столы, кавалеры стали приглашать дам. Теперь пойдут польские, кадрили, мазурки, опять кадрили да котильоны, и так без конца...

Из кабинета, в котором гости играли в карты, вышел в залу Иван Николаевич.

– Где Мишель?

А где ж ему быть, как не подле музыкантов? Музыка, куда ни ступит, задает ему загадки, а разгадок не дает. Вот он и сопит около Тишки-кларнета да на скрипачей косится.

Подошел батюшка к сыну:

– Ах, вот ты где? Ну, ступай, танцуй!

Вот она и есть, главная неприятность! Батюшка любит, чтобы Мишель шел в паре с Полей. Мишель хмурится, но делать нечего. Взяв Полю за руку, он топчется с нею, как бог на душу положит. Так вот и танцуй, покуда не уведут тебя спать.

Другой бы, натоптавшись, сразу уснул. А ему нету сна. Опять музыка его от себя не отпускает. И вовсе не он ее в детскую звал, а она сама за ним по пятам ходит. И стоит чуть не у самого изголовья. Если бы дознаться, как музыка живет да почему с песнями врозь думает, вот тогда бы, пожалуй, и заснул. А пока не дознался – лежит и умствует.

– А кто же, нянька, ее-то выдумал?

– Кого, родимый?

Мишель дивится на непонятливую няньку:

– Про музыку же спрашиваю: откуда она взялась?

Но этого даже нянька Авдотья не знает...

Матушкины именины давно прошли, но из гостей никто не уехал. За именинами будет Новый год, а на 7 января сам хозяин именинник. Зачем же зря гонять лошадей? Так и гостят гости в Новоспасском от Евгении до Ивана.

Танцы, музыка, игры... Или подкатят к дому тройки. Барышни прыгают, визжат: «Ах, тройки, какая приятность!..» – и бегут гурьбой к теплым салопам.

Ивану Николаевичу, после того как он свой конский завод завел, тройками хоть бы и в столицах похвастать. Пристяжные вихрем завиваются, коренной в дышле балует, бьет подковой – искры сыплются из-под острых шипов.

И поскачут тройки по Десне, по расчищенным стежкам. За новоспасскими тройками подтягиваются Глинки из Шмакова, за ними ляховские да язвинские, со всего уезда гости. Сам ельнинский городничий в замке на паре скачет. Но никому не угнаться за новоспасскими конями, хоть и стараются кучера, хмельные от щедрого подношения. Ветер подхватит могучее кучерское: «Гей!» А из лесу эхо передразнит: «Эй!..»

Ветер вперед летит, мороз сзади нагоняет: вот вам и от меня угощение, не побрезгуйте!

Мишель прячется в шарфы, под башлык.

Ему скорее бы к печке. В детской можно с Акимом о птицах помечтать...

...Стоит Аким у притолоки, зипунишко на нем каши просит, пегая бороденка куделью сбилась, а по глазам видать – далеко странствует человек. В печке дрова трещат, пламя ходит, а Аким лесные зори видит, слышит лесные голоса.

– По весне, – говорит он, – если барин отпустит, за соловьями, Михаил Иванович, пойдем. Смышленный соловей архиерейским певчим – и тем не уступит. Слышал я певчих в Москве – тоже, конечно, знатно. А соловей, если он в охоте, никому не поддастся. Не нашего, конечно, соловья возьмем, а бери ты курского соловья, каменовскую, скажем, птицу. Барин с весны будет в Курск обозы посылать, ты меня и отпроси! Аким-де всего-то недельки две надо, чтобы за соловьями сходить, а правильный соловей, он не то что двух недель, он целой жизни стоит! Ты вот каменовскую птицу слышал?

Да где ж ее слышать новоспасскому барчуку? У него только глаза горят и душа замирает.

– Не слышал, значит? – говорит, помолчав, Аким, и по блуждающему его взору видно, что и сейчас он слышит каменовскую чудо-птицу, и на пегую Акимову бороденку ложатся отсветы вешних зорь. – Сидишь ты, Михайла Иванович, с ночи, изготовишься, а он, подлец, и пустит малиновкой. У дельного соловья по такому началу всей песни жди – не обманет! Ни в жизнь не обманет, коли малиновкой начал! Только слушай да не дыши, да забудь, что ты на свете есть. Он малиновкой пройдет да в лешеву дудку, да россыпью, да в кукушкин перелет! И ведь не

как-нибудь, а с росчерком выпевает. Не в скороговорку рубит, ни-ни, а с оттяжкой, вподряд!.. Слышаешь ты его, соловья, а он тебе душу жжет: «Эх, Аким, Аким! Не умеешь ты, Аким, жить! Где ты, Аким, бывал, какие думы передумал, какие песни слышал? Ну-ка меня, соловья, послушай!» И опять изначала припустит: соображай, мол, Аким! «Ты, может, какое мое колено не разобрал или с другим смешал, а я тебе, Аким, помогу: тук! Есть одно, считай дальше». И занесет опять неведомо куда. Ты на красоту распалишься, а он опять тук-тук! Ты, мол, Аким, о себе подумай, как живешь?.. Ну, вернешься поутру от соловьев, весь день в дурмане ходишь. А к ночи – опять к ним. Это уж как пьяница в кабаке, немисливо отстать! Вот ты и отпроси меня у батюшки по весне!

Мечтательный мужик Аким! Он уже в весну смотрит, а в Новоспасском еще Новый год встречают. Под Новый год барышни-гости и вся девичья взапуски гадают. Господа дворяне тоже о будущем повздыхают: прошлый год прожили, а теперь как будем жить?..

Впрочем, с Новым годом, с новым счастьем вас, дорогие гости новоспасские!

Глядя на скрипача Илью, на его беспокойную ногу, грянули изо всех сил музыканты дядюшки Афанасия Андреевича.

Пришел новый, 1812 год.

## В бурю, во грозу

### Глава первая

– Ты присмотришь, мать, к хлебам!

– А что?

Отец Иван прошелся по горенке и снова остановился перед попадьей.

– А то, мать: наливаются хлеба до времени, кое-как. Торопятся до беды с полей обратиться...

– Да какая же беда? Может, и не к нам?

– Не к нам, ко всей России стучится!

– Неужто Бонапартий?

– Некому больше, мать! Он. Он все державы порешил, все земли повоевал. Теперь к нам идет.

– В Ельню?! – попадья всплеснула руками и рассмеялась. – Чтобы в Ельне воевать, никакому Бонапартию не додуматься. Не было такой войны и быть не может, во веки веков, аминь!

– Аминь, мать! А слово мое запомни... – и отец Иван перевел разговор на житейское: – Вот дождем бы бог благословил...

А дождя давно не было. Хлеба наливались до времени, тужились из последних сил. Травы выгорели, стали колючими – тоже ожесточились. Вся земля истомилась, а на небе ни одной захожей тучки. Старики собирались в полях: можно бы по росам приметить, а росы пропали. Отец Иван молебны пел, крестные ходы собирал – нету ноне и от них проку. Не бывало еще такого бездождия, а сказывают, на всю Россию простерлось.

Непривычная стоит тишина. Птицы – и те молчат. Разве ворон прокричит, да своя у ворона песня: не на радость человеку.

– Вон кружит, окаянный, над самой дорогой! – проговорил, едучи в Ельню, новоспасский управитель Илья Лукич. Он прищурился на ворона против солнца и подогнал гнедую кобылу. Барских приказов он вез целый короб, а перво-наперво надо было завернуть в почтовую контору.

Но когда Илья Лукич подъехал к конторе, то ничего не мог понять. Собралась здесь вся Ельня и гудит: война!

– Какая война?!

– Не знаешь? – накинулся на Илью Лукича приказный. – Тебе объясняй, а он, злодей, нашу землю воует!

– Воует! – на разные голоса откликнулась толпа.

Новоспасский управитель протиснулся к самому почтмейстеру и от него получил, наконец, достоверные известия: да, война. Еще поутру прибыла из Смоленска экстра-почта. Война, хотя никакого манифеста о ней до сих пор нет. Спасибо смоленскому почтмейстеру, прислал благодетель копию царского указа, который читан в армии. Вон с него перекопии снимают.

Илья Лукич раздобыл перекопию, поднес ее поближе к глазам, стал небойко разбирать:

– «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян...»

Слова были торжественны, похожи на молитву. На душе у Ильи Лукича тоже стало торжественно. Он сложил четвертушку и сунул было ее за голенище, но передумал и уважительно перепрятал за пазуху.

Роксана шла обратно в Новоспасское размашистой рысью. Впечатления Ильи Лукича укладывались в порядок.

«Война... – думал управитель. – Первое, значит, будем рекрутов ставить, потом обозы в армию пойдут...»

Лукич даже привстал в своей одноколке и фасонисто пошевелил вожжами: надобно прилично явиться с такой вестью.

В Новоспасском народ после всенощной задержался у церкви. Илья Лукич с ходу осадил Роксану.

– Война, православные! – и помчал во весь дух в барскую усадьбу.

А пономарь Петрович вернулся на колокольню.

– Ну, благовестники, сослужите службу народу! – сказал он, раскачав язык у самого большого колокола. – Собирай православных в бранный путь!..

Часто, отрывисто загудел колокол.

Страшен набат, когда сзывает людей против красного петуха, что скачет с крыши на крышу. Но еще грознее всполошный звон, когда все кругом спокойно и нет для него видимых или ближних причин, а колокол бьет, захлебываясь и надрываясь: бе-да, бе-да, бе-да!..

Набат ворвался в барский дом, в кабинет Ивана Николаевича. Мишель вздрогнул: так еще никогда не гудели новоспасские колокола! Батюшка расспрашивал Илью о войне, а война – вот она сама сюда явилась: идет беда, бе-да, бе-да!..

Мишелю казалось, что по этому неотступному зову сойдут с места леса, двинутся горы и разольются реки, чтобы преградить дороги врагу. А там наедет на Бонапарта Егорий Храбрый, да Илья Муромец, да Еруслан... А может быть, они уже бьются, и звоном звенят богатырские мечи? Скорей на колокольню, все высмотреть своими глазами!

Но когда Мишель взбежал на колокольню, Петрович, вконец умаявшись, собрался уже уходить.

И колокола молчат. Будто и не они звонили. Мишель бросился к перилам: тронулись леса? Нет, стоят. Поднялся на цыпочки: может быть, дальние, брянские леса вперед пошли? Не видать! Ничего не видно с новоспасской колокольни...

Карповна, когда нашла Мишеля, уж ворчала, ворчала, и когда спать укладывала, все еще продолжала ворчать:

– Спи, неумный!

– А зачем Бонапарту воевать?

– То ему знать... Спи, говорят!

Помолчала Карповна, подушки взбила, лампаду затеплила, опять помолчала, а барчук все ответа дожидается.

– Зачем ему воевать, нянька?

– На хозяйство наше зарится. «Дай, – думает, – отхвачу какой ни есть кус, авось Россия не заметит». Вишь он какой!..

– Ну?

– А того не знает, недоумок, что Россия хоть во все концы раскинулась, а каждую полосульку в памяти держит. Может, какие земли ни в книгах, ни в грамотах не записаны – нешто Россию в книгу упишешь? А она, родимая, помнит, наше, мол... А ты спи, неумный, все тебе знать надо!..

А как же не надо? Как все не разузнать, если переменялась вся новоспасская жизнь. Батюшка наутро в Москву ускакал. Матушка хоть и не подает виду, а грустит. Дядюшка Афанасий Андреевич чуть не каждый день навещает, а в детскую ни разу не зашел, словно ему даже до птиц дела нет. Девчонки даже – и те из куклиного приданого корпию щиплют, с матушки пример взяли. На матушкиной половине все теперь щиплют. Пробовал и Мишель щипать – нет, скучно!

Все люди переменялись, и Аким сгинул. Едва дождался его барчук.

– Почему, Аким, долго не был? Куда ходил?

– Сам знаешь, Михаил Иванович, какие ноне дела. По баринову приказу далече я странствовал А на большаке видел, как наше воинство идет, идет, и нет ему конца. И впереди полков – песельники. Вот как идут... А песня и птице не каждой дадена, не то что человеку. Песня тому человеку положена, который в себе правду носит. На великую страду наши пошли. Вот и дадены им крылья. Песню, милый, никакими пушками не убьешь, нет у Бонапарта таких пушек!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.